ЗИНОВИЙ
КОГАН
Эй, вы, евреи, мацу купили?
САМЫЙ ОСТРОУМНЫЙ РАВВИН РОССИИ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Зиновий Коган Львович – раввин, вице-президент Конгресса еврейских религиозных общин и организаций России. Родился 6 декабря 1941 года в Барнаульской области Алтайского края в еврейской религиозной семье. Обладатель ордена Святого Благоверного князя Даниила Московского третей степени, Коган Львович, делится с читателями историей своей жизни. Как и каждый человек, Зиновий Коган старается вспоминать из жизни только хорошие, добрые, наполненные светом и радостью моменты.

Ведь всегда интересно узнать судьбы других людей, людей известных и интересных.

- Зиновий Коган
  -
  - Мацеле-Цурес
  - Бог мой, какая прелесть
  - Долгожданное свидание
  - Черная жизнь 79-го
  - Горе
  - Лазарь, вперед
  - Дом и сад
  - Лучшие мгновения
  - Свадьба и арест
  - Русская красавица
  - Смятение неглубокой души
  - Допросы, вопросы
  - Котлован
  - Теплая весна 53-го
  - Папа приехал
  - Ханука
  - Родня
  - Рождение венеры
  - Подпольная иешива
  - Миква
  - Охота на сову
  - Такое нетерпение
  - Остров любви
  - Любовь Господня
  - Под шляпой кролик
  - По-еврейски это звучит так…
  - Раввин переходного периода

    - Третья эвакуация
    - Долгие проводы
- notes
    - 1

Зиновий Коган
Эй, вы, евреи, мацу купили?

© Зиновий Коган, текст
© ООО «Издательство АСТ»

* * *

Мацеле-Цурес

Накануне пэсах и визита Никсона в Москву не вовремя скончался хозяин синагоги Левин.

– Позор! – куратор по делам религии Князев делал бровями птичку. – Каплун, твою мать, за три дня сделай себе нового раввина!

Крепыш Каплун с орденской планкой – хромой вояка – почувствовал себя перед атакой в окопе, из которого не хочется вылезать.

– А шо я?

– Ты председатель!

Прозвучало как «Предатель».

В рождественские морозы, с колядками одновременно, начальство синагоги потихоньку приступало к сбору денег у еврейских богачей, конечно, на мацу. На лист мацы собирали, как на самолет. Но евреи на маце не улетали. А деньги и волнения доконали Левина. Такие дела.

Раввином синагоги назначили гардеробщика дворца культуры ЗИЛа бородатого толстяка Фишмана – пошили ему черный лапсердак, напялили кастрюльную ермолку. О, готово!

Самолет с Никсоном еще только летел над океаном, а туристы осмелели – раздавали посылки с кошер в синагоге.

– Дай пару долларов.

– Передай письмо.

– Евреи, контакты с иностранцами запрещены! – набрасывался Каплун на соплеменников. – А ты вот, кто такой?

– Я Мойша, сын Гитл, – сказал американец.

– Что у тебя в свертке?

– Копченое мясо, вино, маца – шмура, сыр, шоколад, растворимые супы.

– Дай сюда этот сверток! – велел Каплун. – А вы что встали?! Идите молитесь! И быстро домой, уничтожать хамец – хлеб, муку и всякое такое. Пучеглазый, я к тебе обращаюсь, а то не доживешь до следующего пэсах, иди – иди, шлемазл. А ты Мойша, сын Гитл, американский шпион, получи в награду от Всевышнего здоровье, парносу и долголетие – в радости и достатке. Все! Все расходятся, митинг окончен или синагогу закроют к чертовой матери!

Солнце наследило одуванчиками в траве. Редкий пэсах без снега в Москве, но ведь бывает! Тощая ребецен Доба в черном платье и парике писала химическим карандашом номер очереди за мацой над номером смерти бывшему узнику гетто.

– Есть надежда?

Воплощение «Казней египетских» усмехнулась:

– Шрайбт нумер! Тойзенд зиксцикс…

Толкали со всех сторон – каждый наводил порядок.

– Чтоб вы сгорели! – трепыхался в центре Фишман, рыжий и потный – шаровая молния.

Ну и приход достался от покойного Левина – ветераны, инвалиды, понаехавшие из подмосковья, подаванты, отъежанты, диссиденты-сионисты… Чемоданы уже упакованы. Просто нет слов. Чья-то грудь легла ему на лицо.

– Хелпт мир! – Фишман на женской груди, как арбуз на тарелке.

Но кто его услышит? Разве вон тот – излом бровей, орлиный взгляд и ермолка лихо сбита на ухо. Это Каплун.

– Некейва, отпусти раввина! – он-таки оттащил несчастного Фишмана за красную взлохмаченную бороду от сдобных цицек, не в пэсах будет сказано.

Каплун взметнул костыль, как посохом Моисей перед Исходом.

– Ну, за мацой, евреи, становись!

Потняки пихали грудастых евреек и двигались за «командиром».

– Нумер айн, босяки! – и огрел костылем очкастого счастливца, как благословил.

Фишмана донимали интеллигенты.

– Рабби, кто главнее – Моисей или Аарон?

– Где? – Фишман вздохнул полной грудью, свел лохматые брови к носу. – Где ты их, сволочь, видел!? Сойди с моей ноги!

На лестнице курили отъежанты.

– Ничего не берите. Там все есть.

– На каждом углу – холодильник.

– Бесплатно?

– Они все выбрасывают на улицу и покупают новое. Телевизоры цветные выбрасывают!

– В Израиле?

– Нет, в Монголии.

– Зять отправил мотоцикл, самовар, матрешек.

– Через Одессу? Мишигенер, а если вас не выпустят?

– Что вы расстраиваете человека? Вы пришли за мацой? Ге й ин дрейд. Антисемит!

– Сам такой! От таких мы убегаем.

– Вы убегаете от собственной тени.

На лестницу поднялись отказники: маленький Гриша Розенштейн. Мистик с авоськой и жиденькой бородкой а-ля

хабад-любавич. Он улыбался, словно у него уже талон в кармане. Он счастлив, что сбежал от жены. Его окликнул Ваня Гой.

Галахический Ваня Гой раздавал агитку «Домой!» размером с ладонь.

– Сам сделал? – у Гриши от холодного пива голос сел; он и сам того и гляди сядет за самиздат.

– Голубь в клюве принес, – у Го я мамина улыбка.

Тем временем, уличная толпа окружила море Эссаса. Из рюкзака его торчала маца, как крылья ангела.

– Финики на пэсах едят?

– Нет.

– Мы харосет сделали из фиников.

– Шоколад тоже нельзя.

– А водку?

– Раз нельзя хлеб, значит и водку.

– Азохен вей, бояре, а шо же можно?

На Горку поднялись трое нездешнего вида: бруклинские хасиды.

– Делаешь алия?

– Ай эм Миша, энд зис из май вайф Софа, энд … э-э, я инвалид Отечественной войны, закончил рабфак, а вот жена моя – врач, она дороже меня.

В ней всего было больше, чем в нем: и костей, и мяса, и жизни. Она улыбнулась и стала похожа на триумфальную арку.

– А ты сколько рублей?

– Я закончил университет, – Эссас потер правый глаз, правый – это к пьянке. – Пятнадцать тысяч плюс десять тысяч за жену – институтку.

– Мама моя царские курсы заканчивала, – раздалось их толпы. – За что большевикам платить?

Указ Президиума Верховного Совета СССР «О возмещении гражданами СССР, выезжающими на постоянное место жительства за границу, государственных затрат на обучение» мало кто принимал всерьез, потому что мало у кого были деньги. Но иностранцы, видать, только об этом и хотели говорить.

И вдруг новость: касса в синагоге сломалась.

Фишман отпихивал прихожан от гардероба, переоборудованного в кассу. Люди вываливались из синагоги, как из парилки, – красные, взъерошенные. А и то: получить мацу и не быть измочаленным, даже как-то дико.

– Не толкайтесь!

– Буду!

И тут Фишман опять влип в цицьки, как окунь на сковороде.

– Ставь вторую кассу!

– Хелпт мир!

– Рабби, я вас не съем, я давно хотела спросить: почему нельзя есть свинину?

– Неужели?! – вспотевшая голова выскользнула из смертельных объятий.

– Нашла о чем спрашивать! Ну, не дура проклятая!? У меня голова трещит! Что вы все ко мне лезете?!

– Живи, ребе, до ста двадцати.

– Чтоб ты сдохла!

Между тем, раввины Сутендорфы из Голландии, Хьюго Грин из Лондона тоже приценивали братьев своих. Если учесть, что за один доллар Кремль давал девяносто копеек, было отчего рвать на себе пейсы. Но все смеялись: смеялись те, кто спрашивал, смеялись те, кому впору плакать.

– Парень, ты почем? – спросил Хьюго Грин худого очкарика с пустым рюкзаком за плечами.

– Я сирота. Я после дембеля. Семен Андурский-Бреславский.

Надо же, двойная фамилия, а дешевле всех. Сема – сирота алии. То есть его родители, слава Богу, живы. Пока служил в танковых войсках, они улетели в Израиль. А Семе отказ – невзначай раскроет тайну: наши танки – азохен-вей.

– Сколько таких парней?

– Они здесь стоят за мацой.

– На одной маце за неделю ноги протянешь.

– А где взять кошер? – спросил Сема.

– Хочешь совет? – сказал сутулый дедушка. – Купи кур.

– Ну!

– Не «ну», а живых кур. И неси Мотлу.

– Мотл болен, – подсказали из толпы.

– Тогда к Шмуэлю в Малаховку.

– Малаховку?

– Можно в Одессу, но это еще дальше.

Станция Малаховка – ярмарка после пожара. Скучал таксист, мочилась лошадь на асфальт.

– В синагогу.

– Это где пекут какую-то хреновину? – уточнил таксист.

В ветхой избе сидел шойхет Шмуэль, седая борода в полгруди. Достал Шмуэль трехгранный нож, птахи Семы пикнуть не успели, как получили по розе на грудь. Смерть, оказывается, тоже дарит цветы…

– Сколько с меня за розы?

Шмуэль ополоснул водой руки, они прыгали по полотенцу,

точно окровавленные зайцы по снегу.

– Вот недавно ездил я в Медведково на брис, – начал Шмуэль, – ну, зайт гезунд, как говорится. А квартира у него: стенка «Ольховка», ковер там, ковер здесь. Ну, короче, на прощанье мне и двум старичкам дал тридцатку.

Шмуэль насупил брови, представляя эту сцену.

– Да. Так я ему и говорю: «Вот вам десятка моя, сбегай за водкой, чтобы Лехаим сделали за твоего мальчика».

В кармане у Семы трешка.

– Много брать тоже нехорошо, – усмехнулся Шмуэль и отсчитал рубль мелочью.

Юг накачал Москву теплом. Песах, рабойсим, Песах! На закрытых дверях бейт-кнессета объявление: «Мацы нет. Осталось 100 кг для столовой на седер. МЕРО».

Закатилось солнце, и пришел на Горку народ. Студенты бросили в центр круга портфели, обнявшись за плечи, пели-танцевали:

«Строим мы синагогу,
Строим мы синагогу,
Чтоб иди могли молиться Богу!
Ля-ля-ля-ля-ля!..»

А в другом кругу поют «Дайену», а там кричат Высоцкого. И почти все танцуют. Это пасхальный кадеш. Не всегда же делать урхац слезами.

– Идемте к Семе! – разнес ветер над Горкой.

Пляшут очки на носу Семы, взмах руки, счастливый вскрик.

Гурьбой пошли к Семену, потому что маца без седера, что скрипка без смычка, а седер без веселой компании тоже не седер. Ни одного не выкинешь.

– Даже если еврей последний гад?

– Даже если последний.

Гриша Розенштейн с васильковыми глазами, редкозубый взлохмаченный Илья Рубин, Боря Чернобыльский, Иосиф Бегун. Срывала голос крошечная Нудель – не дотянуться до Слепака. Он знаменит стал, когда сказал Моссовету: «Шелах – эт-ами!» Куда и зачем? Запоздалые вопросы. Евреи в дороге.

Семен жил у станции метро «Пролетарская» в коммуналке: ситцевая ширма, железная кровать, а под кроватью пейсеховка. Там и тут айсберги самиздата: «Архипелаг ГУЛАГ», стихи Бродского, «Евреи в СССР», Маймонид… Стены увешаны портретами Сахарова, Солженицына, но в центре портрет деда.

Зарубежных раввинов предупреждали: в СССР никогда, нигде, никуда, ни о чем. Но они пришли-таки на седер. Смелые ребята. На табуретки положили доски и раввинов усадили за стол.

– Мы принесли вам пасхальную новость: американцы вас будут выкупать! Не за горами ваша алия, – раввин Авраам Сутендорф торжественно поднял стакан пейсеховки.

– Шелах эт ами! – погрозил пальцем в потолок Слепак.

– Вот придет Машиах, – Розенштейн положил свою маленькую ручку на одинокое плечо Бегуна.

Народ все прибывал и прибывал.

– Посадите ребе из Нью-Йорка!

Какое посадить – тут уже негде стоять.

Тесно и душно. И Сема вдруг вспомнил, что под столом вентилятор. Он наклонился и включил его. Из под стола поднялся столб белой манки (спрятанный хамец), все стало как в снегу.

– А шо це? Манка?

– Хамец!

– Кто это сделал?

– Галя, сука, проститутка! – и Сема вздрогнул, с широко открытыми глазами. – Ша-Ша! Я сейчас включу пылесос!

На кухне Галя жарила котлеты.

Пылесос у Семы – то что надо. Проглотил ермолки реформистов, а у хасида – парик с бородой и шляпу, и ермолку – яйцеголовый американец.

И в этом шуме и гвалте вошел участковый милиционер.

– А что здесь происходит? Приготовьте документы. Кто хозяин?

Короче, седер начался. Первый вопрос: «Ма ништана галайла газе?»

И побелели все, как одно лицо.

– Я хозяин, – сказал Сема. – У нас такая пасха. Через неделю у вас тоже будет.

Сема взял со стола у яцеголового бутылку виски и увел участкового – это был ответ на первый вопрос «Агады».

Самогонный запах пейсеховки и хрена вдохновляли раввинов, но они не понимали по-русски, а за столом шлемазл Сема держал «Мегилат Эстер» да еще «вверх ногами». Парень в кепке раскачивался в углу, но вместо Агады держал «Биркат ha-мазон», Иосиф Бегун со Щаранским сидели рядом – им не привыкать, Липавский стоял за их спинами.

Кремень размахивал бутылкой водки, как гранатой.

– Даешь «Бидваро»!

– Мишка, убери водку, – взмолился богобоязненный Розенштейн.

– Она из пеньков.

– А если это ловушка КГБ? – прошептал Хью Грин.

– У КГБ все по Галахе, а это русские реформисты, – успокоил Авраам Сутендорф.

– Я буду жить в кибуце на берегу Средиземного моря, – пообщеал Борис Чернобыльский.

– Мы жили в таком кибуце, – сказал Давид Сутендорф. – Папаша наш завелся так, что все в Амстердаме продал, и мы переехали в Израиль. Но потом, в Израиле, уже завелись мы, и вернулись обратно в Амстердам.

– А я буду колесить по дорогам Израиля, я куплю «Мерседес», – китаевед Виталий Рубин держал стакан с пейсеховкой.

Илья Рубин хотел только лист бумаги и тишину в Израиле. Он был львиноголовый, этот главный редактор самиздата «Евреи в СССР».

– Вот я полечу к ребе в Нью-Йорк, – Розенштейн поднял кусок мацы, – и получу из его рук доллар!

Три вопроса по традиции задают на седер. Но первый: «Что вы здесь делаете?» – задал участковый.

– У нас репетиция, – ответил Липавский.

Второй пасхальный вопрос: «Когда поедем?» – поднял Щаранский.

– Когда повезут, – опустил Бегун.

Этот пасхальный седер вел сын малаховского габая – Веня Богомольный. Стоило ему сфотографироваться на фоне своей избы, и вся Америка, от Нью-Йорка до Сан-Франциско, послала гелт на ремонт.

– Разливай, Веня.

– А кто прочтет благословение?

– Ребе Хьюго! – синие глаза Слепака смеялись.

Вскоре после этого пасхального седера Липавский в газете «Известия» обвинит Щаранского в измене СССР. Толю Щаранского приговорят к расстрелу, заменят на пятнадцать лет лагерей. Иосифа Бегуна сошлют на десять лет на Колыму в Магаданский край. Володю Слепака отправят на пять лет в Сибирь. Гриша Розенштейн получит-таки доллар из рук ребе и в том же году умрет от инфаркта. Погибнет в автокатастрофе по дороге в Эйлат Виталий Рубин. Скоропостижно скончается Илья Рубин – на солнце Иерусалима, не дописав строку. Борис Чернобыльский недолго проживет в кибуце у моря, однажды волна унесет его и утопит.

И еще… На этом седере был мальчик под столом, рядом с

банками манки и, будь он неладен, вентилятором – искал «афикоман». Он станет «новым русским» и построит синагогу.

Бог мой, какая прелесть

Бог мой, какая прелесть Чернобыль в августе. Вдоль холмов, похожих на буханки хлеба, вальсировала голубая Припять, в ней отражались лучи солнца. Нигде так не любилось, как здесь – в запахе цветов и трав. Жениться надо в августе, тогда можно новорожденных в следующем году купать в реке.

ЧАЭС пожирал старый город, экскаватор сгрыз могилу цадика Нахума, а потомки его, как ни в чем не бывало, пили вишневую наливку, хупавались между постами – ударники коммунистического труда.

Отец невесты Муня-экскаваторщик стоял перед зеркалом и завязывал галстук. Жена его Софа причитала в дверях.

– Давай попросим вызов из Израиля.

– Я член партии!

– Знаю я, чего ты хочешь! – Софа жутко ревновала его.

– Слушай, Софа, кончай, а то тресну по башке, и навек успокоишься.

– И это в день свадьбы дочери!

Софа заплакала. Она последние дни жила в аду, в истериках, умирала от ревности, от неизвестности, ненавидела его, отталкивала и одновременно желала страстно.

– Все, Софа, идем встречать гостей и новобрачных.

Во дворе на свежесбитых столах солнце преломлялось сквозь стопки, стаканы, бутылки самогонки, блестела селедка в кольцах лука, огурцы и помидоры лежали в зелени. Хлеб еще не нарезан – это будет после благословения.

Молодежь толпилась вокруг Софиного брата Левы, который привез из Москвы магнитофон с кассетами еврейских песен, израильские открытки, значки, учебник «Алеф», журналы «Тарбут», «Евреи в СССР» на папиросной бумаге.

Первый раз гуляла вся улица Ветреная – и еврейская, и украинская: Наташа Наперсток выходила замуж за Ваню Слинько. В сопровождении друзей они вошли во двор, Ваня во фраке, Наташа в светло-голубом.

– Еще один кузнец еврейского народа, – крошечный Янкель-трубач сделал знак клезмерам – труба взметнулась к небу – свадебная мелодия распустилась в саду.

– Горько! – Муня поднял стакан вишневой наливки.

– Го-орько!!! – поддержали его гости.

– Лехаим! – воскликнул Рувка-плотник. – Лешана а-баа б'Иерушалаим.

Он получил разрешение на выезд в Израиль. В сороковом

Рувка бежал из Польши на восток, а уже в СССР его погнали этапами на Дальний Восток, на пятнадцать лагерных лет. Рувка-плотник с магендовидом на распахнутой груди, с осоловело-красными глазами был счастлив.

– Космонавт! – хлопнул его по плечу Гриша, в Магадане они побратались. – Я мог бы тоже поихать у Израиль.

– Будешь, – кивнул Рувка.

– Ни, я помру тут.

– Шо нового? – тормошил Гришу старый сапожник Шая.

– Делов много, – уже другим, ожившим голосом ответил Гриша.

– Мир шевелится, уси хотят сожрать один одного.

– Хэ-э! – засмеялся Шая. – А шо нового?

Мокрый снег с дождем. Эта страна не для жизни. Сотрудник 5-го отдела КГБ рыжий курчавый косолапый Лазарь Хейфец ввалился в кабинет раввина Фишмана.

– Готыню! – Хейфец красный, как из парилки. – Я сойду с ума! Я сойду с ума!

Он размахивал конвертом перед сонным Фишманом.

– Вус махт, аид? – безобразно зевая, сверкнул стальной челюстью старик.

– Зол зей бренен!

– Шо трапылось?

– Вызов из Израиля.

– Ну?

– Вот моя фамилия, мой адрес.

– Мазлтов.

– Что-о?! Я же на службе, я член партии! Вызов майору КГБ!

– Вызов на всех?

– В том-то и дело.

– И на жену?

– И на Суру, и на дочь, и даже на тещу. Во-о, подлянка! Это Сура… я знаю, она меня ревнует к бабам. Но не до такой же степени!! Оторву голову.

– Или теща, – подсказал раввин.

– Та она слепая, глухая и на костылях. Ну и кто?

– Дочь замужем?

– Она студентка, ей-то чего не хватает? Выгоню к чертовой матери. Отца позорить?!

– Я же не сказал, что она, – развел руками Фишман. – А ты кого пасешь?

– Слепака пасу. Упеку его за Магадан. Ну, Слепак, ну, зараза! Я его уничтожу. Ребе, что делать?

– Кто-то тебе мстит. Может, КГБ это сделало?

– Что-о? Мне три года осталось до отставки.

– Избавиться от тебя и на пенсии твоей экономить.

– Ты мне это брось! КГБ – это святое! Понял, хрен бородатый?! Все. Дай пистолет, застрелюсь.

– Только не в субботу, – раввин достал из стола начатую бутылку водки, открытую баночку шпрот и ломтики хлеба. – Давай выпьем, это успокаивает.

Они выпили. Потом раввин достал еще бутылку, и они продолжили.

Хейфец выглядывал в окно из раввинского кабинета. Была суббота.

– Американцы идут! – воскликнул Хейфец. – Я их по рожам узнаю, конгрессмены хреновы. Наши-то не улыбаются. Могут в синагогу зайти. Так ты есть или тебя нет?

– Меня нет, – Фишман попробовал залезть в шкаф, но с таким пузом…

Лазарь вышел из кабинета и через минутку вернулся.

– Свет в зале горит.

– Так ведь суббота.

– Су-уббо-ота, – предразнил Хейфец. – Это уж разорить можно СССР!

У дуба, что напротив синагоги, вокруг китаеведа Рубина друг друга перекрикивали болтуны; инженеры, фантазеры обступили Лернера, физики и кооператоры беседовали с красноухим Азбелем. Но больше всего народа с долговязым и простоволосым Альбрехтом. Он держал две бумажки. На одной заявление Бегуна: «Прошу взять с меня налоги за преподавание иврита». На другой: «Черемушкинский райфмнотдел сообщает, что преподавание языка «иврит» в программе Министерства высшего, среднего и специального образования СССР не предусмотрено, а поэтому, райфинотдел предлагает Вам преподавание указанного языка прекратить».

– Иосиф, это приговор. Как только у них освободиться «воронок», они тебя увезут как тунеядца. Ау-у, люди, или как вас, господа! Я вынужден говорить в такой бедламе. Иосиф бесплатно преподает иврит, который для властей не существует. Иосиф прикрылся справкой, что он ассистент профессора, платит пять рублей налог, и все шито-крыто. Верят ему или нет – вопрос другой. Важно: он обманывает. Отказник должен быть чист, как слеза.

– Чушь! – Иосиф забрал листочки у Альбрехта.

– Не забывайте: окружение не только враждебно, но и агрессивно, и в один прекрасный момент они используют тот

факт, что вы живете нахлебниками их врагов. Помощь из-за границы предназначена для голодающих, но при этом нельзя ничего делать. Иначе слово «помощь» заменится на слово «финансирование».

– В еврейской традиции помогать друг другу, – сказал Эссас, – и вовсе не обязательно оглядываться. Мы работаем на нас.

– Ты прав, – кивнул Альбрехт, – но когда вас спрашивают «на что вы живете?», вы почему-то молчите. Та самая «работа на нас» всего лишь шоу для американцев. У нас нет самиздата как такового. «Евреи в СССР» кто-нибудь видел хоть один номер? Самиздат возник у демократов и был предназначен исключительно для внутренних нужд. Они ведь не собираются уезжать. Как можно здесь возрождать национальную культуру с чемоданом в руках?

– Чушь! – Иосиф – будто бык на корриде.

– Я вам верю, – засмеялся Альбрехт. – Все, что можно делать с чемоданами в руках, так это уносить ноги. Тут все зависит от темперамента. Это русским понятно. А вот как преподавать Тору, песни? Вот тут уже фокус. Фокусы хороши в цирке.

На Альбрехте войлочные ботинки, свитер, джинсы, закатанные на раз, и распахнутый замшевый пиджак.

Тем временем у железных ворот синагоги американцы раздавали свертки для отказников: баночки кофе, майки, джинсы, носки, фломастеры.

– Лева, ты моего Илью не видел? – окликнула Аня Эссас.

– А ты откуда такая загорелая?

– Из Сухуми, там еще лето.

– По Илье не сказать.

– Он не загорел, он стал датишник.

В минуты роковые на Горку с женами приходили отказники. Готовность номер один к посадке. Супруги Кандели, Розенштейны, Лернеры. Не тусовка на снегу, а светский прием.

Феликс Кандель последнее время страдал от болей в сердце. Наталья Розенштейн заглянула ему в глаза.

– Шизофрении у тебя нет.

– Шизофрении нет, – согласился Феликс.

– Нервы, нервы, – захихикал Гриша Розенштейн.

– Уж ты-то психованный! – сказала Наталья. – Молчал бы!

– За тобой, Феликс, ходят чекисты?

– С утра до вечера, Гришенька. Но я же пустой! У меня и дома, как в морге. Сжег все свои рукописи.

– А говорят: рукописи не горят.

– Горят, Гришенька, горят ярким пламенем.

– Ясно. А мне и сжечь нечего, – усмехнулся Гриша.

– Чего ж у тебя бессонница? – вздохнула Наташа. – А еще сионист.

– Это ты зря, мать, – захихикал Гриша. – За это тоже сажают.

– О, смотрите, идет наш вечный жених! – засмеялась Наташа.

К ним подошел безработный Иосиф Бегун с неизменным рюкзаком за плечами. Человек, который готов к посадке.

– А за мной ходит «дама», – похвастался он.

– Это согревает? – усмехнулся Феликс.

– У нее другие задачи. За другими мужики топают, как за гомиками, а меня на Лубянке приминают за нормального мужчину и теперь всюду со мной «дама».

– Вот когда ты, Иосиф, женишься, и за тобой перестанут ходить «дамы», – сказал Феликс. – Что лучше – жена дома или «дама» на улице?

– Лучше «дама» на улице. От нее хоть под одеяло сбежать можно.

За спиной Бегуна переминалась крупная тостозадая «дама» с ярко крашеными губами, с черным ридикюлем и зелеными немигающими глазами.

– Лунц и Рубин получили разрешение.

– Что они с нами делают?

– Липавский осиротел. Он был секретарем Рубина.

– А кто такой Липавский?

Пока Щаранский переводил американцам реплики отказников, Слепак подошел к дубу.

– Есть предложение сфотографироваться с конгрессменами на ступеньках синагоги. А послезавтра пойдем в Президиум Верховного Совета СССР с письмом: «…евреи СССР, устремившиеся на Родину, мы обращаемся сегодня к руководству страны, полные недоумения и горечи…» Предлагаю всем подписать, фамилию указать четко.

– Но сегодня суббота, – сказал Эссас. – Разве нет другого дня?

– Другого дня нет, Илья. Не хуже меня знаешь, – сказал Слепак. – Пусть ортодоксы не подписывают. Ждите своего Мессию.

– А кто в понедельник примет нас в Президиуме? – удивился Азбель.

– Не примут, – сказала маленькая Ида Нудель, – мы устроим скандал и пригласим зарубежных корреспондентов.

– Лунц, что скажешь? – обратился Слепак.

– Можно прямо в Лефортово, а можно погулять по Москве перед посадкой, но ведь сыро и холодно.

– Ага! – Слепак выбил табак из трубки. – Греться будешь в

Хайфе. В понедельник идем скандалить – кровь из носа! «Шеллах эт амии!».

– Уже было, Володя.

– Да, после Моисея никто лучше не придумал.

– Теплые вещи брать с собой?

– Мы идем на посадку, – сказал Слепак, – так что приготовьтесь. – Не зря же прилетели конгрессмены из Америки. – Я увожу их в ресторан пить чай.

В кабинете у Фишмана отбой, никаких американцев. Хейфец по-солдатски ловко откупорил еще одну бутылку водки.

– А как будет имя Андропова по-еврейски?

– Иуда Бен Велвл.

– Кошмар. Никому больше это не говори, понял? А Ленин?

– Велвл Бен Элиягу.

– Брежнев?

– Лейб Бен Элиягу.

– Ужас! Элиягу, элиягу. Кошмар. Никому больше этого не говори.

– А и по-русски Лазарь, и по-еврейски Лазарь.

– Мрак. Может, на всякий случай тоже вызов из Израиля получить?

– Так он у тебя уже есть!..

Тем, кто впервые поднимался на Горку, казалось, что здесь открываются Сионские врата. Столпотворение.

– Я бросаю вызов стихии.

– В смысле жену и детей?

– Они приедут, когда я на Земле обетованной обустроюсь.

– Сволочь.

– В Марьиной Роще миньян шпионов.

– Они звонят мне, а я их не хочу. Свобода!

– Это импотенция.

– Свобода!

– Руки вверх!

– А девчонкам так холодно.

– Я поцарапал авто.

– Обратись к Сереге.

– Пока мы бьемся головой о стенку, ребята роют землю в комсомоле.

– Карьеру, что ли? Ну, это полукровки. Они решили здесь остаться. Зачем им наше гетто?

– Доверься соблазну.

В понедельник у мокрого подъезда Президиума Верховного

Совета СССР остановилась белая «Волга» Липавского. Липавский выпустил двух коротышек – Лернера и Щаранского. Толпа с портфелями и авоськами, где мялись носки и книжки вперемежку с бутербродами, радостно расступилась у парадных дверей.

– А где Розенштейн с плакатом? – спросил коротышек Слепак.

– Его привезет Патрик, – сказал Щаранский.

– Будем ждать.

– Прошвырнемся, – Азбель взял под руку Брайловского. – Очень ранний снегопад в этом году.

– Обещают снег с дождем, – улыбнулся Брайловский, – я даже зонтик взял.

И он достал из портфеля складной зонт, щелк – и зонт весело раскрылся.

– Витя, что же мы мокли до сих пор!

– Но все мокли.

– Я понимаю. Ты – демократ. Когда евреи соглашаются жить по законам других народов, они непроизвольно относятся к этим законам по-своему. Евреи хотят, чтобы их бездарность воспринималась так же снисходительно и сочувственно, как и неспособность русских. Они хотят, чтобы их глупые дети так же нагло торжествовали над умными, как это принято у других. Евреи сопротивляются вытеснению их в интеллектуальные области.

– Датишники с их чадами, – сказал Брайловский.

В это мгновение сверкнула молния и раздался оглушительный гром. Снег и град величиной с вишню обрушились на город.

– Артобстрел Господень, – засмеялся Азбель. – Будь, Витя, поосторожнее.

– Он же нам послал зонтик.

– Хочешь сказать, что то всего лишь учения? Я, Витя, не имел в виду датишники. Они-то как раз пытаются остаться самими собой.

У решеток университета они встретили Эссас, он тоже с портфелем (тфидин, молитвенник и аспирин). На красном кончике носа дрожала капля, будто алмазная серьга.

– Уже все закончилось? – обрадовался Илья.

– Тебя встречаем и Розенштейн с плакатом, – сказал Брайловский. – Долго молитесь, ребе.

– Сколько положено, – парировал Илья.

– И это гарантирует успех? – усмехнулся Брайловский.

– Смотря что понимать под этим, – тонкие губы Ильи уползлши в красную бороду.

Корреспондент Рейтер Патрик привез Гришу Розенштейна со

свежевыкрашенным плакатом «Шеллах эт амии» в полиэтиленовом мешке.

Сразу начали бузить.

– Жиды пархатые! – крикнул водитель авто.

Помощник Подгорного, очкарик белый воротничок Капица, повел их за собой в холл, где в тишине уже сохли два десятка ходоков. Вдруг стало шумно и тесно, как в бане.

– Ну вот, – сказал Капица корреспонденту Рейтер, – по мне так хоть сейчас заберите их всех в Израиль. Эти люди нам не нужны.

– Так вы их отпускаете? – Патрик даже расстроился. Слепак вручил Капице письмо.

– Для председателя.

– Не для меня же, – усмехнулся Капица.

– Мы ждем ответ сейчас, – сказала Ида Нудель.

– По закону, – сказал Капица, – у нас есть тридцать дней.

– Сейчас, – сказала Нудель, – или мы объявляем голодовку в этом зале.

– Я вызову охрану, – ответил Капица, – голодать сможете в тюрьме.

Отказники, а здесь их было с полусотни, запели:

Осе шалом бимромав, Ху ясе шалом а лейну, Ве аль кол Исраэль, Вэ имру Амейн.

Ходоки из глубинки ошарашено смотрели на евреев: во, дают!

– Иностранцы? – поинтересовалась бабка в цветастом платке и деревенском платье.

– Свои, – успокоил Бегун, – Добиваемся справедливости.

– Без очереди, – съехидничал мужик.

Маша Слепак нашлась:

– Мы уже пять лет, как записались.

Это еще больше удивило бабку, и она перекрестилась.

– Иврит и Идиш – это Каин и Авель в сегодняшнем Израиле.

– Сефардское большинство ненавидит нас, – сказал Эссас.

– За что? – удивился Розенштейн.

– Нам кажется порою, что они все потомки хазар.

– Нам – это как, мы – это кто? Ашкеназам, то есть германо-польским жидам? – приставал Розенштейн.

– Если угодно, – Илья наклонил голову.

– Нет, не угодно. Сефарды и ашкеназы – братья по несчастью в СССР, да и в Израиле они в одном окопе. Илья, ты арестован.

– Залог за свободу, – Илья протянул домашнее печенье.

– Смотрите, ворона на подоконнике, – сказал Гриша

Розенштейн.

– Илья, иудаизм к суеверию как? – Бегун обернулся к Эссасу.

– Отрицательно.

– Ну вот, Гриша, прогони птичку.

– Что делать, господа офицера? – спросил Слепак.

– Мы никуда не уйдем, пока не получим ответ, – сказала Ида Нудель. – Такая возможность нагадить им.

– Я вызову милицию, – предупредил Капица. – Вам нужен скандал или ответ на ваше письмо?

– Нам нужны разрешения на выезд.

Через полчаса отказники покинули приемную. Сквозь снежную пелену не было видно Манежа.

– Тебе обидно? – приставал Рубин к Канделю по дороге к метро.

– Что не арестовали? – щуплый Кандель то и дело проваливался в сугробы.

– Что все труды наших предков в России пошли прахом.

– Оставайся и трудись дальше, – усмехнулся Кандель.

– Зря мы ушли, – Бегун догнал их. – Надо было устроить скандал.

– Невозможно препятствовать садиться в тюрьму тем, кто этого хочет, – раздельно сказал Рубин, – но не следует делать ситуацию, при которой попадут в тюрьму те, кто этого не хочет.

Ранняя зима с ума сводила. По гололеду сдирать морду о беду – вот и вся недолгая.

Район Выхино, квартира Азбеля. В доме Азбеля ремонт: подъезд ободран, лестница в известке, двери в шпаклевке. В это последнее воскресенье ноября в квартире Азбеля собрались еврейские физики и лирики, чтобы обсудить гуманитарные вопросы. Это стало традицией.

Азбель в белой безрукавке, красная короткая борода, он похож на разгоряченного быка. Семинар физиков. Вечер Галича. Накануне отключили всему дому свет, а затем – телефоны. О, знали бы соседи, из-за кого в кране не было воды.

В дежурной машине у подъезда скучал Лазарь Хейфец. Он, кстати, получил посылку из Канады и сидел за рулем в новой кожаной куртке. На Галича шли густо, как за водкой или колбасой.

– Бегун пришел, – доложил Хейфец Звереву в 5–1 отдел. – Щаранского привез Липавский.

В квартире Азбеля кадили свечи, люди боялись сбрасывать вещи в темноту и стояли одетыми. Галдеж. Если животные во

тьме молчат, то женщин – болтливей не бывает.

– Они пришли слушать или за меня посмотреть? – Галич сидел под самодельной ханукией.

– Да просто на улице противно. А ты с разбегу начни. Ханукия – таки пригодилась, – Азбель зажег все девять свечей.

– У вас нет света, – хриплый голос Бегуна, – а телефон работает? Нет? А теперь они отключат воду.

Все засмеялись.

Галич пел при свечах.

Тем временем Хейфец продолжал перечислять гостей по телефону: Сахаров, Амальрик, скульптор Неизвестный, Калеко.

– Инвалид?

– Фамилия.

– Ну и какая фамилия калеки? – недоумевал Зверев.

– Да не калека он. Ка-ле-ко! Ага, идут художники, ну те, из Ленинграда: Абезгауз, Раппопорт. Человек десять. Е-мое, картины несут. Ни хрена себе. Раздухарились не на шутку.

– Ведете киносъемку?

– Так точно.

Художники вошли в подъезд, в кромешной тьме, как скалолазы поднимались по лестнице на одиннадцатый этаж.

– Расступитесь! У вас нет света!

Прикололи к дверям манифест: «Несколько художников-евреев вторично объединяются…»

Еще двенадцать свечей водрузил Азбель на ханукию. Художники по одному представляли свои полотна. Абезгауз – «Горда была Юдифь, но печальна». Это окраина села, женщина в летнем яркоцветье, в правой руке ее окровавленный серп, в левой руке – чубатая голова, прикрытый глаз, казацкие усы…

– Картина продается? – спросил Рубин.

– Здесь все продается.

Коллекционер Глейзер взял под локоть Александра Лернера.

– А вы, профессор, когда выставляетесь?

– У меня в Иерусалиме постоянная выставка.

– Дайте приглашение.

– Кто бы мне дал.

– Три года между небом и землей: ни работы, ни денег, и не видно конца. Зло берет, – Рубин и впрямь был в отчаянии после того, как за ним установили круглосуточную слежку. – Кто поведет людей на коллективное самоубийство?

– А что-о, уже хана? – удивился Эрнст Неизвестный.

– Мы уже гибли безропотно, по одиночке, – сказал Рубин.

– У тебя, Виталий, нет русского терпения, улыбнулся скульптор. – Всегда остается какая-то надежда.

– А вы же диссидент! – обратился Калеко к Неизвестному.

– Нет, я не диссидент.

– Важно, что так считает Андропов.

– Он так преследует евреев, как будто сам еврей.

Лева наконец пробился к Галичу – взять интервью для «Тарбута».

– Алик, есть те, кому завидуете вы?

– Я завидую тем, кто верит в Бога, – ответил бард.

– Им легче жить?

– Им легче умирать, – сказал Галич.

– А что такое Бог? Вмешался в разговор Липавский.

– Причина сущего. Закон, – сказал Лева. – Закон, где расширяется вселенная и в искре огня, и в капле воды, и в наших душах.

– Бог не фраер…

Долгожданное свидание

17 апреля 1975 года день пэсах на улице Киева трое еврейских парней изрезали друг друга ножами из-за нейлоновой куртки. Никто из них не знал праздник. Не знали ни одного еврейского слова.

Поезд гремел Украиной, отбрасывая железобетонные шпалы, тянул-тянул за собой придорожные полосы пшеницы, созревшей и поваленной дождем. И сквозь размытое окно – даже если прилипнешь лбом – чудится – рыжий зверь лижет жарко в лицо – расставание.

Они ехали плацкартом. Вере пятьдесят семь – медузообразная, близорукая, изредка смотрела в окно и тихо ахала – не расплакаться бы. «Зачем я родила его на старости лет?» – думала о младшем. Старший сын сидел рядом с ней, у окна. Под рукой его лежала Тора в твердом переплете. И он вез ее брату, Леве ее дал учитель иврита, учителю – синагогальный старик, старику – кантор, кантору – канадские туристы, канадцы размножили Тору офсетным способом, ту самую, что была издана в Вильно в 1912 году… И вот, через 60 лет, она возвращается к русским евреям. Спешит невеста к жениху….

– Лева, – сказала мама, – я тебя забожу, чтоб ты не давал эту книгу Фиме. Мало ему цурес? Ты меня слышишь?

Слышал, но думал о своем. «Если Фимка ударил ножом, что я когда-то украл в пионерском лагере, то не я ли виноват первый… Я не жалел дарить украденное… Я не жалел своего Фимку… подсунул ему… Не-ет, чушь… Я расспрошу. Расспрашивать без надежды помочь…

Без умолку болтали только Софа с дочерью. Обе черненькие, гладкие. Для знакомых они ехали на курорт.

– На обратном пути, – сказала Софа, – сама, Вера, поедешь в плацкарте. Мы поедем с Наташей в купе.

– Пожадничала, баба.

– А ты молчи, – оборвала ее Софа. – Не суйся, когда говорят старшие.

– Лева, сколько стоит купейный билет? – Вера повернулась к сыну.

– Двадцать три.

– Так это, дорогая доченька, тебе, мне и Наташе 15 рублей переплаты.

– Не обеднела б. Зато ехали б как люди.

– Ты тоже не обеднела бы, – сказал Лева, – если бы сама себе

купила билеты.

– А ты не суйся, – Софа порозовела. – Говно.

– Вы уже опять ругаетесь.

– Сам жаднюга, приезжает к маме, чтоб бесплатно кормили. И еще семью за собой тащит.

– О, Боже мой, перестаньте. Кругом люди…

Он раскрыл книгу, снял очки, приблизив страницу к глазам. С верхней полки выглядывал Андрейка.

– Тебя Шлемик зовут? – спросил его как-то старик в синагоге.

– Андрей.

– А как это будет по-еврейски?

– А так и будет.

– Не может быть.

Но было именно так. В кармане у Андрея лежала пластинка – жвачка. Он вез ее дяде Фиме. Фимка – что воробушек со связанными крыльями. И как он, бедняга, продолжал жить? И потому нужно привезти Фимке самое лучшее. И, конечно, жвачку. Зимой Андрея угостили двумя пластинками. Одну он тут же изжевал, а вот эту… эту он везет Фимке.

Земля и поезд поворачивались к солнцу спиной. И словно в гневе оно багровело.

– Я уже второй свой день рождения встречу в тюрьме, – сказала Наташа.

– Ой, действительно, – засмеялась Вера. – Ровно год, как мы были у Фимы. Бедный сыночек.

– Он в тысячу раз лучше, чем этот, – сказала Софа, – Фимка рубаха-парень. Та его ж все прямо за русского принимали.

– Фимочка очень добрый, – сказала Вера. – На каждый мой день рождения дарил подарки. Ты, Левочка, не обижайся, ты такой же мне сын, как и Фимочка, но он добрее тебя. Добрее.

– Та-а! – воскликнула Софа. – Это такой жаднюга! Он за копейку удавится. А уж чтоб прислал родным что….

– Я вам разве на Пасху не присылаю мацу?

И Вера сказала, краснея:

– Ой, я забыла, правда-правда.

Поезд пересекал Украину, и, убежав от заката, нырнул в агустовскую ночь. Дрогобыч. На асфальте чернели лужи. Из электрички выпрыгивали рабочие и бежали к автобусу.

– А лагерь скоро будет? – тихо спросил Андрей.

– Боишься?

Кивнул.

– Ну ничего, ради Фимочки…

– А мы будем жить в тюрьме?

– Гостинице. Только окна на решетках.

– Кругом решетки?

– Не знаю…

Не знал Лева даже того, как выглядел брат. Тискалжалел маленького, дарил книги повзрослевшему. «Кто он – Фимка?» – такого вопроса не возникало.

Киргизы-автоматчики в кирзовых сапогах ходили перед толпой. Четырехэтажный дом свиданий из пиленого известняка стоял заподлицо с проволокой зоны.

– У заключенных свидание только с прямыми родственниками, – сказал дежурный. – А у вас у всех разные фамилии.

– Но я их мама! – сказала Вера.

Наташа уронила банку сметаны. Нетерпенье. В сопровождении сержанта с сумками и свертками поднялись на третий этаж и прошли в конец коридора. Пахло краской. Они остановились в крохотной комнате с зарешеченным окном и свежевыкрашенной белой дверью.

– Водка е? – спросил сержант.

– Нет.

– Не може буты!

– У нас нет водки.

– Та-ак не бувае. Это щоб водки не було…

Дали ему пять рублей. Ушел.

А Фимка уже стучал ботинками лестницу, отмерял шагами свое суточное свидание. Липкая дверь в сторону. Откуда-то сбоку прыгнул на него Андрейка. Обнял Софу, Наташу.

– А маму? – сквозь слезы выговорила Вера.

– Верчик! Рыжий мой очкастик!

У него такие курчавые волосы были! Был солнцелюбом, целовал бродячих собак, кошек бездомных домой приносил. А как он любил дразниться!

Обнажил стриженную голову, точно приветствовал невидимое начальство: «Здравствуйте, гражданин начальник».

– Фима, – сказала Наташа, – поздравь хоть ты меня! У меня сегодня день рождения.

– Точно-о! В прошлом году мы с тобой объедались конфетами. Я выйду на волю – ты уже невестой станешь… А что тебе подарить? Я могу сделать бумажного змея.

Женщины унесли на кухню картошку, курицу, лук, помидоры. За время дороги помидоры пожелтели.

Кухня занимала половину этажа. Здесь жизнь с утра и до вечера буквально кипела. Женщины жарили и варили мясо и овощи, будто приносили в жертву ради благополучия родных

зэков.

– Я учера мужа обкормила, усю нич крычав, як скаженный.

– А я приехала к сыну.

– Мужчины с возрастом не умнеют.

– Вам дать соль?

– Дайте, а то мы забыли.

Тем временем зэки бегали друг к другу в гости, обменивались подарками. Что до детей, то они освоились быстрее всех, играли в войну, гулко стучали сандалиями и громко хохотали.

– Как случилось ЭТО? – старший брат вытряхнул сумку и говорил, не поднимая голову.

– Потом-потом, Левочка, чай привезли?

– Привезли. Ты моим что ль ножом?

– А кофе растворимый взяли?

– Взяли. Это правда, что ты лишь заступался?

– А хорошие сигареты есть?

Они закурили.

– Здесь много идн?

– Пятьдесят маланцев, не считая партизан.

– Партизан?

– Ну кто выдается за русских.

– А я тебе привез…

Лева раскрыл Тору.

Фимка увидел крупные буквы иврита, потом взгляд его скользнул влево и он заметил перевод: «И придет Господь, чтобы поразить Египет, и увидит кровь на перекладине на обоих косяках дверей, и пройдет Господь мимо дверей, и не допустит губителю войти в дома ваши для поражения. И храните это, как закон для себя и для сынов своих навеки».

– Это Пять книг Моисея.

Тора легла на Фимкину ладонь и лежала на ней, как человек на родной земле после разлуки.

– Тут история и то, что будет?…

– Что будет, брат, то уже было… Я тебе привез, знаешь что еще? А-а… никогда не догадаешься. Бульонные кубики.

Это были маленькие кубики в золотой обертке.

– Мы тут, Левочка, по вечерам обсуждаем каждую новость. Такие споры! Ну, ты ж знаешь евреев!

….И вот уже дощатый стол накрыт газетами, и пар еды, как пар земли, весело плыл сквозь решетку в окно.

Фимка надломил горбушку хлеба, обмакнул луковицу в соль.

– Чего мне очень хотелось, так – лук с хлебом.

– А что мы будем пить за Наташу? – спросил Андрейка.

Вдруг Фимка вскочил из-за стола.

– Здравствуйте. – В дверном проеме двое в черных робах.

– Это мои друзья, – представил Фимка вошедших.

Испуганные лица женщин и запах мяса – все это ошеломило вошедших. Их усадили за стол, а Вера с детьми сели на кровать. Все старались смотреть мимо еды.

– Они хотят, чтобы ты написал им буквы иврита. – сказал Фимка.

– Сначала алфавит, а потом немножко о новостях Дома, – пожилой еврей со шрамом на лбу подмигнул. – Вы уже поняли меня, что я имею ввиду?

– Понял, конечно.

– Ешьте, пожалуйста, – сказал Вера, – пока суп теплый.

– Нет-нет.

Они вскочили. Поднялись Лева и Фимка.

– Ну, тогда стол отодвинем от стены и все сядем, – решила Вера.

– Как вы считаете, – спросил тот со шрамом. – меня могут принять в кибуц, учитывая мое прошлое?

– А сколько вам еще сидеть?

– Восемь, мне будет шестьдесят два.

– Гриша думает, что в кибуц главное записаться, – засмеялся Фимка. – а там уже работай – не работай, все равно не выгонят.

– Первая буква ивритского алфавита «алеф», это видите, восточный кувшин. – Вот такие значки наполняют «алеф» звучанием. Ну, как бы кувшин наполняется водой… Тора же начинается со второй буквы «Бейт»…

Эти двое пришли к Фимке на час, и час был на исходе.

– Так ты приготовил, Фим, что вынести? – спросил молчун.

– Мама, Софа и ты, Наташка, выйдите, – заторопился Фимка. – И ты, Андрей, быстро!

Молчун скинул робу.

Целлофановые мешочки с чаем, бульонные кубики, сигареты – все – утонуло в сапогах.

– Лева, братик, ты мне дашь Тору?

– Конечно.

Тору завернули в целлофан и бинтом привязали к груди будущего кибуцника.

– Левочка, дай червонец… менту, чтобы шмон не делал….

Гости ушли, вернулись дети и Софа.

– Фимочка, – сказала Вера, – когда же ты с мамой поговоришь?

– И мы с Наташей для него не существуем. Хочешь стать как этот? – сказала Софа.

– Наташенька, давай я тебе сделаю змея. Ты завтра выйдешь

на волю, и вы запустите его. Хорошо?!

Принялся мастерить из бумаги и ниток змея, то и дело приговаривая:

– А потом вы его отпустите и пусть он летит. Хорошо?!..

…Вечером, когда мама Вера с внуками улеглась на кровать, а Софа на другую койку, братья устроились на полу. Снова довелось вместе спать.

– Ну, Левич, расскажи что-нибудь, – шепнул Фимка и положил голову на плечо брата.

Рассвет пролился на лица, Фимка спал, поджав под себя ноги, уткнувшись головой в стенку.

Вера проснулась первой. Первой увидела сыновей. Вот они лежат вместе, а через четыре часа один из них снова, как зверь, будет загнан за проволоку. Это в девятнадцать лет. Слезы залили лицо ее.

В одиннадцать заканчивалась встреча. И Дом свиданий гудел от плача и причитаний.

Ножницами Фимка вырезал листок целлофановый, сшил трубочкой, наизнанку вывернул, чтобы швы вовнутрь. С детский палец мешочек получился.

– Гелт!

– Вот, Фимочка.

Мама протянула сторублевку. Он скрутил трубочкой, просунул в чехол и зашил. Последний шов был наружу, но тут уж ничего не поделаешь.

– Левочка, возьми стакан с водой и стань рядом, – попросил он.

Он запрокинул голову и начал пропихивать деньги себе в глотку. Лицо его покрылось пятнами и каплями пота; глаза, вначале закрытые, распахнулись и смотрели в потолок по-птичьи беспомощно. Лева поднес ко рту брата стакан с водой.

– Все, – наконец сказал Фимка.

– Ну, слава Богу, – вздохнула мать.

Фима обнял ее, она расплакалась.

…Прощание было коротким.

– Шалом, брат.

– Ша-алом! – Фимка оглянулся, поднял над головой руку.

И ушел.

Наташка и Андрейка выбежали на дорогу. Пыль и солнце. И побежали за змеем. Отпуская его дальше и дальше от себя. И змей, обдуваемый ветром, трепетно взмыл над красной стеной лагеря. Дети отпустили веревочку. Так просил Фимка. Змей быстро-быстро улетал в небо.

Черная жизнь 79-го

Это было начало черного периода в жизни Марка Азбеля, а также и в жизни другого физика-отказника – Вениамина Файна, хотя с тех пор как профессор отказался давать показания, чекисты отстали от него. Но день за днем Виктор Брайловский и Марк уходили из дома в восемь утра – точно так же, как люди, собирающиеся на работу, – чтобы прибыть в Лефортово к девяти. Домой они возвращались к полуночи, настолько усталые, что не могли говорить. За их квартирами велось наблюдение; за ними следовали везде. В воскресенье в квартиру Азбеля на семинар по еврейской культуре привезли журнал «Евреи в СССР». На квартире тут же был устроен обыск, а все присутствовавшие подверглись личному досмотру. У Марка забрали его блокнот – самый ценный предмет, которым он владел. И, разумеется, все копии журнала «Евреи в СССР».

Вскоре послед этого допросы в КГБ заменили Азбелю на допросы в Московской прокуратуре на Новокузнецкой улице. Эти допросы по сравнению с лефортовскими казались Марку почти отдыхом. Его не запирали, да и место не было связано с тюрьмой. Хотя бы территориально. Возможно, эти допросы должны были увеличить напряженность, но они возымели обратный эффект: Марку они казались передышкой после долгих сидений в кабинетах Лефортово.

Так шли дни, а вместе с ними – череда угроз и предупреждений то одного, то другого рода. Стало почти невозможно выглядеть жизнерадостным, когда он к ночи попадал домой. Ради чего страдали Люся и особенно дочь Юля?

– Так больше не может продолжаться, – сказал Марк жене. – Люся, ты должна подать на отдельное приглашение в Израиль. Не жди больше. Юле надо покинуть эту страну. Мы не можем обрекать ребенка на такую жизнь. Вы с Юлей похожи на людей, живущих под проклятьем.

– Без тебя мы не уедем! – твердо сказала она, оставляя невысказанной мысль о том, что если бы они на самом деле сумели получить визы и уехать раньше, чем Марк, то могли больше никогда друг друга не увидеть. – Все обязательно будет хорошо! Тебя поддерживают столько людей!

Незадолго до этого они узнали про демонстрации «Спасите Азбеля!» в американских университетах, особенно заметными среди них были акции в Университете Пенсильвании, и действия Комитета «За Азбеля, Лернера и Левича» в Массачусетском

технологическом институте.

Прошло много времени, прежде чем Марку удалось-таки заставить Люсю сказать, что если его ситуация к осени не изменится, она по крайней мере отправит просьбу о приглашении в Израиль. Ему удалось убедить ее вывезти их дочь навестить друзей в Коктебель. После того, как Люся с Юлей уехали, Марку стало намного легче возвращаться домой после ужасного «рабочего дня»: не надо было улыбаться и тратить последние силы, изобретая какой-нибудь способ уменьшить страх, написанный у них на лицах. Единственный, с кем он в то время много общался, был Виктор Брайловский.

По истечении трех недель Азбелю опять вручили повестку на допрос. Снова ехать на Кузнецкий мост. На этот раз следователь занял «отеческую» позицию.

– Марк Яковлевич! Я подумал над тем, о чем мы говорили, когда виделись в прошлый раз, и знаете, я почти готов признать, что вы были правы. Я даже обратился в высшие инстанции с предложением выдать вам визу на выезд. Они соглашаются, но единственное что им надо – ваши показания на Анатолия Щаранского, перед тем, как вы уедете.

Он дал минуту на обдумывание этой информации, заем продолжил:

– Смотрите, чего они просят? Все лишь незначительные детали. Небольшие простые вещи, которые ни для кого ничего не значат! Но вы ведете себя как наш враг. Вы не хотите отвечать на эти вопросы. Не хотите сотрудничать даже в самых обычных делах.

Пока следователь говорил, Марка посетила мысль, что те, кто сделались предателями, попались именно в такую ловушку. Они совершили маленький шаг на пути, который вел – не к свободе, за которую они так долго боролись, – а к моральному самоубийству.

Разрешение на выезд было так близко – прямо перед носом! Чтобы получить его, нужно было сделать только одну крошечную уступку. Вот только за ней последует еще одна, потом еще – и в конце ты обнаруживаешь себя в роли доносчика КГБ.

Следователь выдвинул новый аргумент:

– Вы знаете. Что обвинение и расследование независимы друг от друга. Я не могу отдавать им приказы: никто не может, даже власти, – следователь улыбнулся. – Я не могу отпустить вас, если только вы не дадите мне показания. А они, – следователь неопределенно повел головой, – уже начинают сомневаться. Говорят, что если вы такой упертый и открытый враг… – следователь оставил предложение незаконченным. – Они не

могут позволить врагу уехать на Запад. Ну почему вы не станете немножко сговорчивей?

Азбель вновь повторил те самые объяснения, на которые столько раз опирался раньше:

– Я был бы рад дать любые показания. Все, что в моих силах! Но я не хочу врать. Я понимаю, что это звучит неправдоподобно, будто у меня такая плохая память, но что я могу поделать? Моя память всегда была блестящей во всем, что касалось физики, но наука вытеснила все остальное, и на вещи, о которых вы меня спрашиваете, памяти у меня уже просто не оставалось.

– Я вам не верю.

– Зачем я буду врать? – протестовал Марк. – Если я начну врать, говорить, что помню то или это, я потеряюсь. Очень скоро мне придется изобретать новые и новые детали, и после этого меня поймают – будет очевидно, что я вру. Я стану открытым для обвинения в даче ложных показаний. Вот в этом я буду действительно виноват. У меня не останется выхода. Как вы сказали, наши суды от властей не зависят. И вместо того, чтобы получить визу, я получу приговор. Поэтому я не могу поменять своего мнения.

– Ну что, что вас так беспокоит, дорогой Марк Яковлевич?

– Что меня беспокоит, – немедленно отозвался Азбель, – так это то, что эти расследования не проходят гладко. Что в них что-то не то, знаете. Я очень обеспокоен давлением, которое оказывается на меня во время допроса. Что я подвергаюсь угрозам! И я не понимаю, в чем тут проблема. Вы очень хорошо знаете, что ни я, ни Виктор Брайловский не могут дать информацию про Щаранского. Мы знаем его, но никогда не были его близкими друзьями. Брайловскому год назад сказали, что он может получить разрешение на выезд. Он недавно еще раз обратился, но ответа не получил. Поэтому я и говорю: что-то идет не так.

На этот раз следователь ответил довольно грубо:

– Если Брайловский даст правильные показания по делу Щаранского, он получит визу. Если нет, то нет. То же самое касается и вас!

Затем его голос вновь стал по-отечески доброжелательным:

– Вы так близки к своей цели, к выезду! Зачем же вы его откладываете? Кто знает, как долго вас могут продержать, если вы даже не можете вспомнить пару незначительных фактов?

Следующий допрос проводил Черных – начальник отдела этих самых допросов. Ждать его Азбелю пришлось довольно долго. Наконец, Черных появился – небольшого роста крепкий мужчина с угольно-черными глазами.

– Дело в том, что Анатолий Щаранский попросил о встрече со мной. – деловито начал он, – и, конечно, человек попавший в беду, должен быть выслушан первым. Поэтому мне пришлось поговорить с ним, перед тем, как встретиться с вами, вот почему вам пришлось ждать. Еще раз примите мои извинения. Может, вы желаете чашку кофе, раз уж вы столько ждали?

– Нет, спасибо.

– Сначала я хочу вас спросить: есть ли у вас жалобы на то, как проходили допросы? Как начальник отдела допросов, я должен проверять методы работы своих подчиненных. Я должен быть уверен, что они соблюдают все требования советского закона.

– Есть жалоба: не было границы между отношением к свидетелю и подозреваемому.

– Мне очень грустно это слышать, – сказал Черных. – Конечно, многие из этих людей еще молоды и неопытны, но они научатся. В методиках расследования в последние годы произошло много изменений. Мы больше не поддерживаем негативных отношений между следователями и свидетелями. И даже между нами и подследственными.

Говоря это, Черных внимательно изучал Марка, пытаясь понять, о чем тот думает и насколько нервничает. В два часа он отпустил Азбеля на обед, игнорируя его предложение, что для экономии времени они могли бы пропустить перерыв. Когда Азбель вернулся, допрос продолжился. Но он отличался от того, что Азбель проходил раньше. Не было ни угроз, ни давления. Черных спокойно смотрел, как Марк пишет: «Я не знаю» или «Я не помню», и переходил к следующему вопросу. Спустя какое-то время он сказал, что Азбель может просто написать одно предложение, где будет сказано, что он не может вспомнить, подписывал ли он какие-либо документы вместе с Щаранским. Азбель написал это на чистом бланке и подписал.

Черных поставил свою подпись на его листке, и на этом допрос был окончен. Азбелю не вручили новую повестку, но Черных вежливо посоветовал ему не уезжать из города на выходные.

Почему-то Марк был почти уверен, что на этом с допросами – все. К понедельнику они решат, получит он визу или его посадят по каким-нибудь обвинениям. Словом, у него вполне неясное будущее.

Можно было ничего не говорить, но Марк все равно рассказал все об этом допросе всем своим друзьям, но только Виктору Брайловскому сказал:

– Я уверен, что решение властей уже близко.

В воскресенье Азбель вернулся домой и обнаружил почтовую

открытку из Визового отдела. Почтовая карточка всегда означала отказ. Никто из тех активистов, которых он знал и кто получил разрешение, не уведомлялись по почте. Это мог быть окончательный отказ. Однако на карточке было написано «Позвонить СРОЧНО».

Всю ночь он не мог сомкнуть глаз. Разрешение или отказ?

Он уже был уверен, что они разрешат ему уехать, но через минуту приходила мысль, что они ни за что этого не сделают. И так до самого утра.

Ровно в девять Марк был в телефонной будке – набирал номер, указанный на карточке.

– Инспектор, с которой вы желаете поговорить, сейчас отсутствует. Она задержится сегодня утром.

Он не мог дозвониться до 11-ти. Это были самые долгие два часа в его жизни.

– Я должен был позвонить вам, – назвался Азбель, – в чем проблема?

– Ну, ваша проблема решена, – сказала инспектор.

– И под этим вы подразумеваете?…

– Вам разрешено покинуть Советский Союз.

Горе

Горе тем, кто отключает телефоны. Им больше не доступны разговоры диссидентов о конституции, о правах человека, о Сахарове, ну и евреи – отлюченцы говорили об отказах, об Израиле. Им отключили телефоны, но не перекрыли дороги. И в этот день июньский поехал на велосипеде Гриша Розенштейн по кривоколенным переулкам от дома к дому сообщая о сегодняшнем митинге – протесте на площади Моссовета. А тем, кому телефоны еще не отключили, он объявлял:

– На минху у Егуды Яхадзак в семнадцать. Минха – это послеполуденная молитва, а Егуда Ядхазак – это Юрий Долгорукий.

Чуть не прохлопал ушами митинг майор Лазарь Хейфец. Да тут еще стало известно о прилете из Ташкента экс-прокурора Бориса Кацнельсона, кто судил отца Сани Липавского. Канцельсон звонил Володе Слепаку и просил о встрече. Хейфец взял с собой на опознание экс-прокурора Саню Липавского, загримированного под старика, но выдавали пышные усы.

– Ну, где он? – теребил Хейфец.

– Да, вон он: загорелый худой мужчина с папиросой сзади Слепака. – сказал Липавский.

Пятнадцать лет назад в Ташкенте Саня вошел в кабинет прокурора Канцельсона.

Прокурор Борис Канцельсон требовал высшую меру наказания начальнику Главташкентреста пятидесятилетнему Леониду Липавскому. Отца Сани обвиняли в нецелевом использовании средств при строительстве рыбокомплекса. Среди прочего, вместо бомбоубежища построили баню.

– Минералку с газом, без? – спросил тогда прокурор студента мединститута Липавского.

Саня прикрыл глаза и замотал головой. Кацнельсон тяжело вздохнул: вот ведь как, красавец парень добровольно идет на заклание. Прямо как жертвоприношение библейского Исаака. Начальник Ташкентского КГБ просил Кацнельсона принять сына арестованного.

– Играете в баскетбол?

– В волейбол.

– А кто у вас тренер?

– Адик Калеко.

– Он инвалид?

– Это фамилия. Борис Ефимыч, мой отец…

– Я знаю, зачем вы пришли. Вот бумага, пишите то, что написали в КГБ. Ну, приблизительно, конечно: мол, обещаю сотрудничать с КГБ СССР до конца своей жизни.

Или до конца КГБ СССР – вдруг мелькнуло в голове прокурора.

– Так вам, Липавский, минералку с газом, без?

– И значит, теперь вы можете простить отца?

– Эйсав простил брата своего Якова через тридцать лет. – сказал Кацнельсон.

– Как же Христос всех прощал? – Саня поднял взгляд на прокурора.

– Да, теперь пожалуй, я могу и прощать! Только вот пакость-то – когда я это право заслужил, то оказалось, что в нем мало кто нуждается. А кто нуждается… Вот, например, вас, наверное, не раз предавали, так Иуду вы простить можете?

– А почему нет? – вызывающе ответил Саня.

– Иуда, – холодный взгляд прокурора расстреливал Саню, – человек, страшно переоценивший свои силы. Взвалил ношу не по себе и рухнул под ней. Это вечный урок всем нам – слабым и хлипким. Три четверти предателей – это неудавшиеся мученики.

За сотрудничество Сани с КГБ его отцу заменили расстрел на пятнадцать лет лагерей в Магадане. Сане разрешили после окончания мединститута пять лет работать в магаданском лагере, где был его отец. А в 69-ом КГБ его командировало в Москву.

Тополиный пух заколдовал Москву.
Ну чем еще можно было объяснить бездействие властей?
Два десятка отказников танцевали «хору», пели

Ам Исраэль хай!
Щаранский хай!
Бегун Иосиф хай!
Ам Исраэль, ам Исраэль хай!

Прохожие останавливались, смахивая пух с ушей. Тополиный пух, как нежданный снег, сбивал на перекрестках автомобильные пробки и легковушки сигналили – аккомпонировали вызывающему танцу отказников. Евреи кричали, срывая голос: «Свободу! Сво-боду!» Это душа народа призывала своих детей к жизни.

Маша и Володя Слепак принесли плакат «Шеллах эт-ами». Они стояли в окружении журналистов.

Ида Нудель читала толпе Мандельштама:

Лишив меня морей, разбега и разлета,
Чего добились вы?..
На вершок бы мне синего моря,

На игольное только ушко…

Она читала, чтобы молчала суетность и жлобство спряталось, душа народа укреплялась уличной молитвой, где хороводами и стихами расточался талант.

Сквозь пелену тополиного пуха майор Лазарь Хейфец смог разглядеть плакат Слепака. Лазарь вприпрыжку побежал на угол ресторана «Арагви». Швейцар открыл дверь.

– Поссать и телефон. – запыхавшись и отталкивая швейцара, сказал Лазарь.

– Моисей? – спросил армянин.

– Моисей – Моисей. Не узнал?

В туалете Лазарь лихорадочно пританцовывал и никак не мог раскрыть ширинку – зaело. Наконец, облегчился и позвонил на Лубянку.

– Митинг отказников у Моссовета. Человек сорок. Слепак с плакатом «Отпусти народ мой».

– Что делать?

– Устроили демонстрацию напротив Моссовета! Какого черта мы ни черта не знаем?! – заорал полковник Зверев.

– Около Слепака свидетель по делу Щаранского прокурор из Ташкента.

– Борис Кацнельсон? – српосил Зверев.

– Так точно. Что делать?

– Пух с носа сдувать. Слепак, говоришь, в окружении журналистов? Подгоним автобус.

Зверев взял графин и прямо с горла наполнил рот водой. За окном густая пелена тополиного пуха накрыла площадь, железный Феликс смешно торчал, как из кальсон. Кальсон. Кацнельсон. Ну кто этих евреев заметит в тополиной круговерти? Что были – что не были. Но вот что нужно там Кацнельсону? В 1963 году Липавский предложил свои услуги в качестве стукача прокурору Ташкента Борису Канцельсону, чтобы спасти от расстрела своего отца за экономические преступления. Не воруй. Правительство не терпит конкурентов.

Канцельсон собрался в Израиль? Самый раз сдать Саню Липавского. Эх, Саня– Саня, разрушил собственную жизнь, ради отца своего. И ведь Липавский любил своих друзей, но был связан

по рукам и ногам и, как Иуда, предавал их.

Зверев проглотил отвратительно теплую воду.

Через десять минут на площадь Моссовета подъехал автобус с курсантами милиции. Одни – евреев окружили, другие – погрузили в автобус.

Вечером всех отпустили по домам, в том числе и западных корреспондентов.

В полночь в квартиру Слепака пришли с обыском.

Записные книжки, письма, фотографии, учебники иврит… Все как описывал Альбрехт в своей нетленке «Плод».

Руководил обыском некто Сергей Иванович.

– Где вы работаете? – спросил он Слепака.

– Нигде.

– Ну вы еще не пенсионер.

– Я свое отработал.

– Мы знаем все о вашей активной антисоветской деятельности. Сегодня устроили шабаш перед Моссоветом, а что завтра?

– А что завтра? Лучшие годы нашей жизни. – улыбнулся Слепак.

– А завтра уже началось. Два часа ночи. Вот ордер на ваше задержание. Вы идете с нами.

Очень буднично прозвучал арест.

Тем временем, другая опер-группа обыскивала квартиру Иды Нудель. У окна стояли бледные понятые.

– Это ордер на ваш арест. – сказал старший группы Владимир. – Вас называют «мама алии» У вас есть собственные дети?

– Собственно, вся алия мои дети. – ответила Нудель.

– Ну, для этого вы слишком молоды.

– Не вам судить.

В далеком, изнуряющем от жары ночном Иерусалиме Виталию Рубину снился странный сон: он вновь в СССР и приговорен к смертной казни. Ничего явного не происходит, он знает: он идет на место казни в сопровождении какой-то знакомой интеллегентной женщины и говорит ей, что у него есть ценная вечная ручка, и он хотел бы чтобы она предложила ее палачу в вознаграждение за то, что он все сделает быстро. Совершенно спокойно, так, как будто идет дело о мелкой бюрократической проблеме, она ему отвечает: «Тут могут быть

некоторые трудности… Сначала вас осмотрит доктор Липавский…

Володю Слепака, Иду Нудель, а вскоре и Виктора Брайловского после отъезда Марка Азбеля (он возглавил семинар физиков – отказников), отправили в ссылку. Скорый суд приговорил их за «злостное» тунеядство на пять лет ссылки в далекие селения Сибири. Сибирь – матушка велика. На всех места хватит.

Лазарь, вперед

Баржа, выброшенная на берег, скрывала от нацистов бойца. Он лежал в ней, как сардина в консервной банке. Самолеты и артиллерия взрывали пляж с перерывами на обед, и в один из них боец вывалился за борт. Камышами вдоль Дона, чавкая сапогами. Дом смердел, облизывая пыльный Темрюк. И был закат и был рассвет для перебежек и страха. Голод гнал Лазаря, и боец пересек площадь освобожденного города и вошел в штаб.

– Боец…

– Хейфец, еб… – Гнилые зубы лейтенанта Лупенкова выглядывали из улыбки, будто мыши из норы. – Твою мать, Лазарь, мы по тебе поминки справили. Одни сухари остались.

Он протянул горсть черных сухарей.

– Сей в себя, Лазарь, сухари.

А на столе лежал леденец. И вдруг взрыв, и стало темно, хотя и сияло солнце на зависть покойникам.

Когда Лазарь опомнился и захотел помочиться, увидел окно в паутине и самого себя, запеленатого в белое. В руках его был зажат леденец, а в голове будто застряла горошина.

– Значит, я жив, подумал Лазарь. – А кто убит, не знаю.

Победу Лазарь встретил с университетскими тараканами. Шинель и ранения сдали экзамены за абитуриента Хейфеца. Только-только мужчинам начали сниться женщины; женщины пугали беременностью. Но коммунисты хотели славы – одни сдавали вступительные экзамены, другие – делали себе аборт. И все без исключения хотели знать, что же произошло с ними за пять лет и что будет теперь, когда от Югославии до Китая вожди сплачивали ряды.

На радостях Лазарь со скоростью мотоцикла пригласил на оперу Валечку, недавнюю знакомую. Опера «Иван Сусанин», театр Большой, а Валечка была учительницей начальных классов, блондинка атаки.

В бельэтаже он держал ее пальцы, поил шампанским в антракте. Наконец предсмертный кашель Сусанина заглушил хоровые песни и пляски. И все же ничто так не волнует, как топот в раздевалку – увидеть, что твое пальто не сперли.

– У меня кружится голова, – сказала Валечка и откинула челку со лба, будто бюстгальтер с груди.

– Валечка.

– Я живу далеко.

– Был бы магазин близко.

Какие-то стеклянные цветочки, невысоко поднявшиеся над

асфальтом Сокольников, пьяными огоньками горели в темноте.

У Пожарной каланчи они вошли во двор, как в сундучок.

Сначала Лазарь подумал, что посреди сундучка пляшут полуголые девушки, а это болтались на бельевых веревках женские трусики. А что принял за спиленные деревья – посиделки старух.

Двухэтажка в стиле «лишь бы не было войны» пахла полевой кухней всех мировых войн. И над этим нависла Пожарная каланча.

– Голосуем! – Лазарь вскинул руку и остановился. – Кто за то, чтобы отовариться портвейном?

– У меня такие соседи…

Валечкина комната – это хрестоматия одинокой женщины: от журнальных вырезок на обоях до весенних подтеков у окна.

Он сел за стол, а Валечка скрылась за гардеробом, что выдавался на середину комнаты, как облезлый волнолом, отделяя корабли от гавани, где стояла кровать с бронзовыми собаками, целомудренным покрывалом и горой подушек.

Она принесла радио, похожее на бумажную шляпу. Духовой оркестр играл вальс.

Лазарь смотрел на ее ноги и согревал ладонями бутылку портвейна.

– За что выпьем? – улыбнулась Валечка.

– За погоду на завтра. – Лазарь зубами вытащил пробку из горлышка.

Они взяли стаканы, и две руки их, будто змеи, сплелись в любовный узел. Они поочередно высовывали язычки и лизали друг дружку по зубам.

– Сладкий мой.

– Девочка моя.

– Бычок.

– Маленькая, сосочки…

Это было уже слишком. Она испустила стон и вырвалась из его рук.

– Я сейчас вернусь.

Лазарь снова увидел белую кровать с бронзовыми собаками. И он залпом допил стакан и начал стягивать с себя «амуницию»: китель, рубашку и, наконец, штаны-клеш. Только трусы и туфли на нем (забыл скинуть), откинул холодное покрывало и прыгнул. Треск и грохот.

На кровати вместо сетки лежала фанера. Фанера треснула, и Лазарь шмякнулся. Голый, с выпученными глазами и туфлями с дырявой подошвой.

– Боец Хейфец…

Из-за того, что он был в ботинках, Валечке всю ночь казалось, что она в руках кентавра. Ночью он замерз и дрожал вокруг ножки стола.

Закончился еще один послевоенный год. В райкоме партии Лазарь работал юристом и терпеть не мог еврейских ходоков, потому что они признавали в нем своего. Он учился заседать в президиумах и спать с открытыми глазами. Через войну он доказывал чужим, что свой. Теперь нужно своим доказывать, что он для них чужой.

Он расписался в ЗАГСе с Валечкой, приобрел чернильный прибор и купил супруге лисий воротник. По утрам он жевал хлеб, слушал новости по радио, похожее на бумажную шляпу. По вечерам встречал Валечку у школы.

Уличные мужчины кусали языки, глядя на высокую грудь в зверином меху. Это возбуждало Лазаря ночью, когда он пытался Валечке кое-что доказать.

Тем временем в Палестине возродился Израиль. И от этого, казалось, советские евреи изменятся. Так оно, быть может, и было бы… но не было. И это подтверждало некую идею. Но для полного счастья он хотел избавиться и от пятого пункта в паспорте.

«Ну что ж, – думал он, – не в этом году, так в следующем».

В следующем арестовали врачей-евреев.

13 января: «Арест банды врачей-отравителей – это удар по международной сионистской организации».

К вечеру мороз хватал за уши, а Лазарь задыхался. Вбежал в комнату, радио – в розетку, голову – в тарелку репродуктора: диктор-диктор. Я не я! И вдруг грохот входной двери.

Лазарь включил пылесос. И почудилось жильцам, что объявлена тревога.

Стыло небо СССР, приглушая лязг и скрежет железнодорожных станций. Им снились вагоны, сортирующие людей – кому оставаться жить в городах, а кому умирать в дороге. И шли, кому умирать, наденут рубашки и в слезах понесут детей в чрево вагонов. Будь дети у Лазаря, он отнес бы их на баржу, что была выброжена на берег Дона…

Лазарь лег на кушетку, как в обморок.

И заревели быки, и замычали телята, а евреи молчали. Потому что не знали, что им уготовлено.

Грузили евреев в Китай. Сосед Ваня от всей души пожелал «чтоб вы сдохли», а сослуживцы подарили Лазарю халат «банды врачей». И как только халат цвета зимы упал на его плечи, заиграла музыка Москва-Пекин, и поезд тронулся. Овчарки лаяли,

солдаты хмурились.

Не еврейская жена Валечка бежала в толпе, а букет бумажных роз бежал впереди нее.

– Люби…

Протянула букет и втянулась в ссыльный вагон. Лазарь обнял Валечку. Та к заканчивалась история евреев России и начиналась история евреев Китая.

– Не родись красивой, а родилась счастливой.

Семь дней отстучали, и разули китайцы глаза и вот – спрыгнул из товарняка Лазарь и баба с цветами, а за ними еще десять миллионов интеллигентов. Много, однако, врачей и музыкантов.

И побежали Лазарь и Мао навстречу и обняли друг друга, и пали на шеи, и целовались, и заплакали.

– Даешь ассимиляцию, – всхлипнул Лазарь.

– За дальнейшее развитие антисемитизма! – И поднял Мао Цзе-дун глаза, и увидел пришельцев от Абрамовича до Янкелевича, и спросил: – Кто это у тебя?

И сказал Лазарь:

– Еврей-цзы, братья твои, чтобы плодиться и размножаться. А ты думал…

Но думал Мао или нет, Лазарь не увидел.

Супруга скинула его ноги с ботинками с дивана и пнула ногой в ребра. И открыл Лазарь глаза. И вот ноги голые и пол холодный. Прямо у носа таракан с потолка грохнулся. А Китай пропал. Вдобавок Валечка наотмашь врезала по обморочной морде.

– Лазарь! Лазарь. Сталин умер.

Он вытер кровь из носа, почему-то вспомнил про Гументаш с маком.

На раскрытом подоконнике стоял на красных лапах серый голубь, и красный глаз его подмигивал Лазарю.

Благословенно поколение – свидетель гибели вождя.

– Лазарь, – сказала Валечка, – ты только не волнуйся.

– За что, моя былинка?

– Ты помнишь: Темрюк, дырявая баржа, артобстрел, Лупенков?

– Было дело.

– Он берет тебя в ГРОБ.

– Сука.

– Дурак! Так институт называется, а тебя не сегодня-завтра из прокуратуры погонят.

– За что?

– Было б за что, убили бы.

С этой минуты вокруг него заблуждали огни, что-то вроде электронного сияния. Он влез в ванну. Тер тело щеткой, смывая с себя обморок. И тем не менее, как на лифте, быстро и легко, очутился в новом бреду. То есть в еврейском мире.

… Толпа пылила на юг. Шли пешком. Толпы текли по земле, как вода по водосточным трубам. Евреи шли к Одессе. Они вздыхали, но не останавливались.

Лазарь шел во главе колонны, прихрамывая для солидности. Сзади кричали:

– Не толкайся! Не толкайся!

Та к невтерпеж было некоторым. На лестнице Ришелье Мосфильм запечетлевал потрясающую картину: евреи шли с рюкзаками и чемоданами, со швейными машинками и электрокаминами, с сервантами, картинами, роялями. Двое штатских в шортах стояли у камеры, когда мимо проходил Лазарь. Пленка у них давно кончилась. Просто из камеры лучше видно.

Огромный корабль загружался день и ночь, и лучи прожекторов метались, как безумные.

Лазарь занял капитанский мостик.

– Рубите концы! – командовал балабус.

И евреи «рубили концы».

Белобрысый мальчик с рыжими пейсами читал на память: «И сказал Гашем Ною: войди ты и семейство твое в ковчег, потому, что тебя увидел праведным передо Мно в этом роде».

Та к он читал. И показалось толпе, что воды слились с небом и пришел потом на землю. Ничего кроме воды, евреи не увидели, и заплакали женщины, поминая захлебнувшихся: гешефтников, меломанов, графоманов и прочих манов. Вода – дура, она топит без разбора.

Слезы женщин стекали в Черное горькое море.

– Мы только и остались, – шептали несчастные. – Мы и тот белобрысый с пейсами.

– Храм на небе, – шептал мальчик.

– Не рухнул бы Храм, – сказал лейтенант Лупенков.

Но мальчик с пейсами, в широкополой шляпе, накинул на плечи талит и поднял стакан с водой для благословения, и вдруг заразительно засмеялся. Мужчины толкались у раздачи, но доставалось вино только «по маме».

– А по папе?

– Вкалывать будешь по папе. Окей?

– Это демократия? – спросила Валечка.

– Не еврейских жен за борт, – крикнул Лазарь.

– Я тебя в Израиле достану. – замахнулась Валечка.

– Ты в Израиле «никто».

– А мы? – спросили сто миллионов китайцев.

– На то и потерянное колено, чтобы больше не искать, ляпнул сосед Ваня.

И зря. Теперь никакой гиюр ему не поможет. Китайцы бросили его за борт.

– Лазарь! – скандировал они. – Спаси!

– Я против миссионерства, но по просьбе трядущихся… Сухари в торбах есть? Тогда даю вам и потомкам вашим имя: Сухари. И будете служить спонсорами мальчика с пейсами. И вы. И дети ваши. Обещайте сделать.

– Сделаем и пообещаем.

– Курс на Хайфу, – скомандовал Лазарь. – Сходим по трое в колонну.

Ветер полощет лозунг:
Хаверим и гоим,
Водка яд!
Кто не с нами –
Сволочь и гад!
Сделаем революцию
ать-два!
Лазарь Хейфец
го-ло-ва!
Создадим арабам
комфорт и уют,
Иначе братья
от нас уйдут.

– Утром, пока не жарко, оккупируем Кнессет. Место прогорело – пожарника нет. Фалаши, хуяши уходят к палестинцам, палестинцы «Шлах эт ами» обратно в Египет.

– А что пообещаем сирийцам? – заинтересовался мальчик с пейсами.

– Мальчиков с пейсами.

– А Ираку? – не сдавался талмудист.

– А Ираку сраку! Объединимся с Биробижданом под названием СС: Семитский Союз.

– Ни одной гласной, – сказал сухарь с китайской улыбкой.

– А у китайцев есть гласные?

– У нас одни гласные.

– Не забудь. Как мы забыли идиш.

– И потом, как мы будем получать твердую валюту?

– Мы можем продавать планеты. – сказал Лазарь. – Как-никак, наш Бог все это создал.

– Слушайте, это корабль не дураков, это корабль сумасшедших. Если я сегодня не трахну девочку, я сойду с ума.

– Нюсик! Раздать на члены противогазы. Наша партия раздаст обещания. А соберет голоса и солдат.

– Пески, куда мы плывем, пожирали пришельцев, – сказал мальчик с пейсами. – Но мы пожрем все.

– Но что-то оставим и другим?

– Но не врагам же, – возмутился Лазарь. – Смерть предлагают близким.

– Мир создан ради нас, – сказал мальчик с пейсами.

– С чего ты взял, Нюсик?

– Та к сказано в Мишне.

– Нюсик. Ты плохо кончишь, то есть кончишь в ешиве, где одни мальчики…

На этот раз из обморока Лазаря вытащила Валечка. Перекрыв воду в ванной.

– Лазарь, иди подстригись. На тебя страшно смотреть.

Зеркала Сталина были не для евреев. Тем не менее, еврейских парикмахеров хватало.

За Пожарной каланчей парикмахер Боя наваливался животом на клиента, придавливал и стриг. Это было дешево и безопасно.

Лазарь сел в кресло и задохнулся от одеколона и живота парикмахера.

– Что же вас будет – бокс или «Молодежная»?

– А что такое?! – возмутился Лазарь. – Полчаса, Боря, стрижете меня и не знаете. По какую прическу?

– Ша-ша. Я просто спрашиваю, какая вам больше нравится.

– Надо было, Боря, спрашивать в начале.

– Знаете, лучше, как говорится, поздно, чем никогда.

– Ну, вы так не шутите.

– В наше время если не шутить, тогда конец. Завивку будете делать?

– Какая завивка, Боря?! Они у меня вьются от рождения.

– Тогда с вас два рубля.

Был понедельник. И эти плывущие эскалатором лица возвращали Лазаря в счастье…

Какие-то стеклянные цветочки, фанерная кровать, прокурорские кудри. Ностальгия морочила голову до самой Красносельской улицы, где посреди стоял монастырский дом с вывеской «ГРОБ».

– Не фирма, – подумалось.

Пятый этаж, келья и веснушчатая баба – чистый попугай в клетке. И как попугай она выкрикнула:

– Лазарь Хейфец, однополчанин Лупенкова?

– Так точно, боец Хейфец.

Дверь кельи резво отворилась, и маленький Лупенков с незабываемой улыбкой хлопнул Лазаря по плечу.

– Хо!

– О! – ответил Хейфец, сильно щурясь, так сильно, что того и гляди очки грохнутся с носа под ноги Лупенкову. Сейчас он начнет вспоминать все с начала. А Лазарь почти ничего не помнит, придется еще долго вот так улыбаться и щуриться.

На боку Лупенкова болтался противогаз ГП-4У. Заглядывая Лазарю под очки. Он спросил:

– Ты помнишь, Лазарь?..

В ушах завыли сирены, забарабанила канонада. А вот имена хрен с два Лазарь помнил. Наконец, они вышли от кадровички. Монастырские коридоры, скрежетало железо лифта, а маленький лейтенант чеканил шаг, и брезентовая сумка противогаза ГП-4У билась о костлявое бедро. То там, то сям хлопали двери, как ворона крыльями, у Лазаря выступил пот – ему почудилась окопная стрельба. Ах. Скорее бы уже найти техотдел. Где его провозгласят руководителем и где два раза в месяц будут выдавать зарплату.

– А что значит «комго»? – обратился он к однополчанину.

– Командир гражданской обороны, – медово ответил Лупенков и хлопнул себя по бедру.

– Ага… А тот техотдел?

– Сначала я покажу ближайшее убежище. Я подарю тебе индивидуальную аптечку. Никогда не забывай об индивидуальных средствах защиты. Я научу тебя делать ватно-марлевую повязку.

Они спустились в подвал с железной дверью. Лупенков заливался, как ужаленный бобик. Он зажег свечу и поднес ее к пожелтевшему плакату.

– Это общая картина наземного ядерного взрыва. Лазарь, когда пройдет ударная волна, ты встанешь и наденешь свои средства зашиты. А если их нет, закрой рот и нос повязкой. А это наши скамейки. Давай присядем. Ну как? Они сделаны так, что можно лежать и сидеть. Здорово, да?

Когда они наконец выбрались из убежища, монастырские своды содрогнулись от стадионной музыки. Было одиннадцать часов – время зарядки для ГРОБа. Лифт поднял бывших однополчан на пятый этаж, и Лазарь вошел в ярко-зеленую

комнату с тремя рядами столов и сотрудников.

– Здравствуйте, товарищи, – сказал Лупенков, и уже хихикая и делая ужимки, добавил? – Вот новый руководитель группы Лазарь Хейфец. Он ничего не знает. Но ему ничего и не надо знать. Как контуженный ленинец и боец с мировым сионизмом будет он нести вам свет еврейский в ваши пьяные головы. С Хейфецем наш ГРОБ станет еще крепче.

Лупенков засмеялся. Хлопнул себя по противогазу и пошел, обернувшись уже в дверях. Нечто вроде воздушного поцелуя. Лазаря чуть не вырвало. Напротив него из-за громадного стола торчало маленькое огородное чучело в очках и с солдатской медалью на пиджаке. На пиджаке, что висел на плечах, как на вешалке. Стол его был завален журналами и справочниками.

«Начальник, – подумалось Лазарю, – так холоден и строг взгляд из-за кругленьких стеклышек».

Между тем женщины в ГРОБу галдели, как они галдят всюду, где их больше двух.

– Я вообще, – говорит черноволосая с цыганскими серьгами, – вчера видела комбинации. Немецкие, в цветочках. Очень хорошие. Стояла-стояла и как дура ушла.

– Сколько?

– Ровно четырнадцать рублей.

Девушки ахали по женихам.

– Я его цветы выбросила на помойку.

– Ой, дура!

Лазарь провел раз-другой по холодной блестящей поверхности стола. Покрутил шеей. Причесал кудри. Тихо постучал пятками о паркет.

В этот день, как, впрочем, и на следующий, к нему никто не обращался, и он не знал, что делать, то есть кем руководить.

Испытание на безделье Лазарь выдержал блестяще, и на третий день чучело с медалью сказало:

– Напишите тушью объявление: «Сдать по три рубля на воблу».

– Не понял, – вздрогнул Лазарь.

– Тушью напишите объявление.

– Я?

– Кто здесь начальник?! Я! Повторите!

– Я.

– Я, Ларионов, а ты Лазарь Хейфец. И ты напишешь объявление.

У Лазаря был почерк землетрясения. Написать тушью (!) объявление. Это было похоже на издевательство, если бы он не

чувствовал себя от безделья в подвешенном состоянии. Лазарь расстелил лист ватмана, открыл бутылочку с тушью и обмакнул чертежное перо.

Ларионов испытующе следил за каждым движением нового сотрудника.

«Он ждет, когда я промахнусь, – с ненавистью подумал Лазарь. И еще он подумал: – где-то эту рожу я уже встречал. Может быть, это мой бывший обвиняемый? Не доконал в свое время».

Злое лицо Ларионова смягчилось, только когда Лазарь опрокинул-таки тушь на свои каракули.

Едва угасал день, как загорался день другой. И были они похожи, как похожи поезда в метро.

Приплюснутый к дверному стеклу электрички, вглядывался Лазарь в черноту, в себя. Поредели кудри – только два рожка; чем старше становился, тем больше походил на пучеглазую маму Цилю. Мама Циля в партию вступила, мама Циля горы своротила. А сын словоблудил и пил на праздники в ГРОБу. Да толку что? Что бы он и делал или не пил, Ларионов писал на него доносы Лупенкову. Однако Лупенкову было ясно. Что ядерной опасности в Лазаре было меньше, чем говна. Но Ларионов безумствовал – он обнаружил самое ужасное: женщнам нравилась война двух казаков. Один был казак еврейский, а другой деревенский. Женщины стали как-то вызывающе раскрыто смотреть в глаза Ларионову, они не то, что больше не боялись его – они смеялись над ним.

На самом деле им было совершенно наплевать на такие мужские игры. У них свои игры: где достать жратву и как похудеть.

Был в зените 67-й год. Первого июня Лазарь с Валечкой гуляли в Сокольниках по выставке Инпродмаш. Евреи впервые в жизни шли под флаг Израиля. И сразу было ясно: их много, они одна команда. Они спешили в павильон, как футбольные болельщики на стадион. А в павильоне евреи имитировали себя именинниками, им было наплевать на сефардский мосад и русский КГБ. Огромная толстая книга отзывов была исписана стихами. Там толпился народ до шестого июня включительно. В тот вечер Лазарь впервые спросил жену о своей внешности.

– Я похож? – спросил, глядючись в зеркало.

– Еще как! Настоящий жид пархатый.

– Врешь, сука тонконогая, – улыбнулся он. – Ты антисемитка.

– А все антисемиты.

– Врешь!

– Странное дело, людям говоришь правду, тебе не верят.

Она подкралась к нему сзади и горячим утюгом коснулась его трусов.

– Готы-ыню! – заорал Лазарь.

– Это тебе за суку, – сказала Валечка. – И за тонконогую.

– Ну, зараза! Ну, какая же ты гадина.

– Раз так, сам гладь свои рубахи и майки.

Так всегда. Он же и виноват. Такие резкие выпады всегда застигали его врасплох.

– Галка купила три десятка яиц и все тухлые, – засмеялась Валечка.

– Сделай мне яичницу, – попросил Лазарь.

– Дай денег, так я сделаю.

– Ну хорошо, а что мы будем завтракать?

– Цветную капусту с картошкой.

– Я мужчина. Я хочу мяса!!

– Ха-ха-ха!! Кто здесь мужчина? Гвоздь в стену не может забить.

– Могу.

– Ну так бей.

– А ты дай.

– А это видел? – она стукнула его по носу фигой.

– Больно!

– Что?

– Давай я тебя стукну.

– Значит, ты ужинать не будешь?

– Буду!

Потом, когда Валечка накормила его капустой и картошкой, когда он почувствовал, что дальше «не лезет», он сказал, улыбаясь:

– Знаешь, кто ты? Милый маленький зайчик с бабочками на голове.

– Ну-ну. Пей чай. Я пойду приведу себя в порядок.

Она стояла голая под холодным душе и дразнила свою глотку сопрано. Была весна, все набухало, и Валечка чувствовала себя сочной и какой-то ошалелой.

– Перестань орать, – сказал Лазарь. – У меня чесотка от твоих песен. У него это как аллергия на одуванчики.

– А с чего это ты вдруг?

– Израиль бьет арабов, а нас будут бить здесь.

– Я была бы рада, если тебя отлупят.

– Рано или поздно гои припомнят нам Израиль.

– Ох и негодяй же ты, Лазарь.

– Бывают негодяи полезнее святых.

– Я тебя стала бояться. Раньше этого не бывало.

– Раньше ты мне давала, – захихикал он.

– Дурак.

– Дурак?! – В глазах его мелькнул бес со свечами. – Закури лучше, училка кривоногая.

– Дурак! Больше ко мне не дотрагивайся.

– Сама ко мне в трусы лезешь.

– Ду-уррак! Бессовестный!

– Тебе привет! – крикнул он ей вдогонку.

Она не ответила.

– Тебе привет от минет!

Их обоих трясло от ненависти, но под руками не было автоматов.

Вечером все жильцы слушали радио, как будто бои велись на Садовом кольце.

– Арабы вооружены всем советским до зубов – утром евреи прыгнут в море.

– Лазарь, конечно, болеет за своих.

– Ну, понятно, все они болеют за своих.

В ту ночь Лазарь постелил себе на полу. Он лежал и всматривался в красные пятнышки, плавающие в темноте. Красные пятнышки что-то уж очень разыгрались, как будто ночью в пустыне враг вел спорадический огонь. Лазарь лежал вытянувшись во весь рост. И тут он увидел холодные маленькие глаза Ларионова. Потом они боролись.

Руки у Лазаря были напряжены. Кулаки стиснуты и прижаты к животу. Когда он уснул по-настоящему, то есть забылся, ничего ему не снилось, и мозг спал, и было ему хорошо, как бывает хорошо только в обмороке.

– Амалеки взрывают наши синагоги.

– Давайте сами их заминируем.

– Давайте окутаем их колючей проволокой и будем впускать туда только раввина и только один раз в год, на Йом-Киппур.

– Сухари, а где евреи будут чесать языки?

– Они нас взрывают, а мы не знаем кто.

– Зато знаем кого, – сказал мальчик с пейсами.

– У вас сократилась молитва и удвоился счет в банке. Такие дела.

– Один Бог знает. Кого они завтра взорвут.

– Почему бы Ему не подсказать нам?

– Бог не стукач. Ты его что – нанял?

– Ша, сухари, ша! Арабы воюют с нами, потому что мы на них непохожи! Сделаем так, чтобы они стали на нас похожи. Или мы на них.

– Это надо записать в Талмуд. Кто ведет Протокол

сионистских мудрецов? Повтори, Лазарь, еще раз.

– Я говорю: мертвые похожи друг на друга. Мы ударим на рассвете.

Потом ему приснилось, что у них с Валечкой родился ребенок.

Ему хотелось своего ребеночка. Не потому, что он любил Валечку, а чтобы у него было существо, ему послушное всегда во всем… Во сне ему часто снился ребеночек: то мальчик, то девочка. Они уже ходили в школу, получали двойки, были непослушны, и Лазарь их бил. Бил ремнем, бил ладонью, крутил за уши, душил ногами… Мальчик ему снился ушастый, с темными выпуклыми глазами, и назвал его Лазарь чудным именем Лащик, потому, что он любил ползать по полу и всегда лазил, куда его не просили. Девочка была страшная болтунья, языкастая и глупая, как сто женщин вместе взятых. Лазарь ее бил каждый день. Зажмет ногами, трусики снимет и пряжкой, и пряжкой!.. она кусается, плюется, рычит, а он бьет еще сильней, еще сильней…

Лазарь настолько привык к этим своим СОНПРИХОДЯЩИМ детям, что даже днем, когда бодрствовал, не смог бы ответить с уверенностью: есть у него дети или нет. У Валечки, у этой определенно были только наряды и сплетни; ей и дети-то небось ни разу не приснились. Как она ему фигой ударила по носу. Антисемитка.

Утром он вспомнил про сон и не знал, как его истолковать. И ему стало страшно.

В метро Лазарь пробился к темному стеклу дверей вагона и закрыл лицо газетой. Мало ли. На нем написано, что антисемит тоже. Увидят, что жидовская морда, и расквасят сопатку.

Шесть дней в газете «Правда» израильтяне терпели поражение. На седьмой день Насер надел на голые ноги альпинистские ботинки. Так он спешил.

Осень пришла – никто не заметил. Не до осени было. В Польше сионистская молодежь декламировала Мицкевича. В Праге сионистские писатели дудели в Дубчеку. А что творилось во Вьетнаме? Что там вытворяли сионисты? То-то и оно.

5 ноября в техотделе сдвинули столы и, невзирая на международный климат, выставили бутылки с вином и водкой. Мужчины в обед плотно пообедали и теперь пили, словно смазали глотки слюной, и лица их становились все краснее. Лазарь разыгрывал из себя свойского парня, Ларионова щекотали позванивающие медали; дорвался до спиртного и Лупенков. Не пил, не пил – и здрасьте пожалуйста.

– А вот знаю анекдот, животики надорвешь. – сказал Лазарь.

– Расскажите, расскажите, – умоляли женщины.

– Катит Хаим бочку по улице. Абрам говорит: куда катишь? Мочу на анализ. Целую бочку? А что мне, жалко?

Все покатились со смеха.

– Через час видит Абрам, что Хаим снова катит бочку, – продолжает Лазарь. – Домой? Да, говорит Хаим, они сахар нашли.

И поднялся из-за стола Ларионов, и осоловело поглядел на сотрудников.

– Мы для чего здесь расселись? Для того, чтобы отмеить пяти… десяти … Ура-а-а-! – и дрожащей рукой опрокинул стакан за пластмассовые зубы.

– То-оварищи! – раздался женский голос. – Наш Ларионов воевал в Севастополе.

– Врет, – сказал Лупенков.

– Чтоб мне не вставать из-за стола!

Так он им ответил.

– А что мы тебя там не видели? – спросил Лупенков.

– А что вы там делали? – спросила комсомолка Лида, у которой была в институте единственная обязанность: стоять за углом и отмечать опаздывающих.

– Давайте лучше еще по стакану, – скромно ответил Лупенков.

– Нет-нет-нет!

– Я воевал в Севастополе в чине лейтенанта с Лазарем. Мы проверяли посылки.

– О-о-о!

– Конфисковывали запрещенные продукты.

– Водку?

– И водку тоже.

Лупенков выпил, и тотчас перед ним на столе очутились вместо лиц сотрудников ящики с посылками. И он взял со стола консервную открывалку и вдруг воткнул ее Лазарю в рот. Лазарь высунул язык и сказал:

– А-а!

Он будто сидел у врача в кабинете, а может быть, на допросе.

– Бэ-э! – передразнил Лупенков. – Так мы открывали посылки и потрошили их. И жили мы во-о как!

И он поднял большой палец.

– И леденцы брали? – спросил Ларионов.

– В леденцах специалистом был Лазарь.

– Я так и думаю, – сказал Ларионов.

– Врет, – покраснел Хейфец.

– Чего уж там, – ухмыльнулся Ларионов.

– Да, – кивнул Лупенков, – он был молодой специалист и

сосал леденцы, а я жрал шоколад и сгущенку.

– Здорово, – сказал Ларионов. – А я был в саперном батальоне. Из грязи не вылазили и жрали одну мороженую картошку. Утром картошка, днем картошка, вечером картошка.

– А у нас было все, – улыбался Лупенков. – колбаса, сгущенка, конфеты. Вот где я зубы себе испортил. Мы воевали культурно.

– А что потом? Что было потом?

– А потом мне дали приказ взорвать «Севастопольскую диораму 1812 года». Это когда уже покидали город.

– И взорвали?

– Взорвал.

– Герой, – сказал Хейфец.

– Приказ, – ответил Лупенков.

– Герой, – повторил Лазарь, сплевывая на ладонь кровь.

Потом он положил голову Лидочке на колено. Она чесала ему за ухом и дула в линялый нос. Он не был бабником, а Лидочке было совершенно все равно, кого гладить: начальника ли, уличную собаку или даже Лазаря.

После третьего стакана Лазарь (ох уж этот Лазарь!) затащил Лидочку в Красный уголок, где он склеивал статейки против любителей Израиля. Там был диван, испачканный красками и клеем. Лидочка распалила писаку, едва не до инсульта.

Спас его Ларионов.

– А ну, слазь, нахал! – сказал он. – Я, Хейфец, в понедельник докладную на тебя напишу. Хватит.

Дверью хлопнул – стекла посыпались. Даром что маленький, а ревнивый.

«Докладную на меня, – бубнил Лазарь дорогой домой. – Ты, гад, доживи до понедельника».

Как пришел домой, он не помнил, но тут же сел за стол и накатал докладную на Ларионова. Беспартийного агента. Написал и сложил в солдатский треугольник.

А Ларионов в понедельник пил воду и с похмелья боялся сделать лишнее движение. Во вторник он получил втык от шефа. Начисто забыв о Лазаре.

Лазарь сам о себе напомнил, когда принесли Ларионову распечатанный конверт. Прочел письмо, зеленый стал и кожа покрылась пупырышками – вылитый крокодил.

– Ну, хорошо, жидяра, отлично. Я теперь знаю, что ты за фрукт. Достаточно я накопил против этой скотины.

– Пис-сатель, – сказал он Лазарю. – а ну-ка, встань. Пойди к Шуре-кладовщице и принеси бутылочку с тушью.

Лазарь уже все позабыл и, еще ничего не зная, поднялся и ушел к Шуре-кладовщице.

Как только Лазарь исчез, Ларионов открыл свою бутылочку с тушью и ловко разлил ее по столу Лазаря. Вернулся герой – глазам не верит: черные реки затопили его бумаги.

– Авцелухес!

Кружилась комната. Да так быстро кружилась! Замахнулся Лазарь на врага, а ноги уплыли в сторону. Тут-то он и разбил себе лопатку об угол стола, потом стула, и, накоенц, об паркет: бум-бум-бум. Не судьба, видать достойно ответить.

– Убился! – закричали женщины.

Ларионов понюхал Лазаря и вдруг дико закричал: Лазарь плюнул по-верблюжьи обильно, и узкое лицо Лариоши стало белым, будто в мыльной пене. Лазарь вскочил. Короткий прямой удар в два передних зуба, что сидели рядом на десне, как две совы на старой ветке. Лариоша закатил зрачки и вогнал свою острую коленку в Лазарев пах. Как кол в землю вогнал.

И закричали бойцы громко, как сохатые. Будь у них рога, они сцепились бы на веки вечные, но было у них лишь по две руги и ноги, а передние зубы остались только у одного.

Их мирили, они ссорились. Из Сокольнического райкома то и дело звонили директору: что там у вас за война? Никто не мог с ними ничего поделать, потому что Ларионов приносил в жертву справочники и журналы для своей толстой книги, а Лазарь приносил в жертву евреев, кто хотел уехать в Израиль. И Лазарева жертва была весомей, ибо толстую книгу графомана никто не хотел читать. А статьи Хейфеца приносили гонорары и успех у библиотекарши Лиды.

Но… но чем больше приносил он соплеменников в жертву антисемитам, тем чаще и чаще кололо у него в голове. Толпы евреев в Шереметьево росли не по дням, а по часам, и уже не одна «Вечерка» гонялась за лазаревскими жертвоприношениями. Да беда… Голова раскалывалась.

И однажды не нашли его в техотделе. Ни в отделе. Ни в «Вечерке» не было. А была в голове его опухоль, и росла она в голове, как гриб после дождя.

Среди ночи Лазаря увезла «скорая помощь», поместили его в больницу. Где царил тошнотворный запах умирающих и лекарств. Койки там стояли перпендикулярно к стенам, и когда он открывал глаза, то сначала видел одни голые пятки.

Весь мир закрыла ему нежданная опухоль. А ведь сколько еще не сделано. Он уже почти докопался до начальника теплотехнического отдела Семена Браславского, он завел дружбу с тремя «китами» из министерства: Копыловым, Воняевым и Негодяевым, он почти обрюхатил Лиду… и на тебе – опухоль в голове. Нужно было срочно принести что-то или кого-то в жертву,

и тогда он спасется, вырежут опухоль. Выкачают больную кровь и накачают его здоровой кровью – и он встанет.

– Сделайте мне операцию, – приставал он к врачам.

– Нам нужна кровь, – отвечали ему.

– Я знаю, где много крови. В ГРОБу. Там меня знают, там дадут кровь для меня.

Врачи приехали: так, мол, и так.

– А вы у раздевалки. Но только двое подошли к раздевалке, и то за своими пальто.

И вот лежит в гробу красивый, как китайский мандарин. Потом сожгли за две минуты. Две минуты – и нет Лазаря.

А перед этим был последний обморок. Пограничник вертит паспорт Лазаря.

– Это что за документ? Первый раз вижу.

– Это что-то вроде даркона.

– А вы гражданин какой страны?

– Да, в общем-то, уже никакой.

– А счет в банке у тебя есть?

– Есть.

– А больничная страховка?

Чуть-чуть он вылетел в трубу, чуть-чуть в пепле остался.

Тем временем вдова раскручивала поминки. Пили много. Но тосты поминальные говорить не хотели.

– В домино покойный любил играть, – сказал вдруг сосед Ваня.

– Баб любил, – ляпнула вдова.

Ларионов вздохнул, но смолчал. Смолчать он смолчал, но после этой вдовьей речи стал наливать по синюю каемочку. Вообще, все напились безобразно в тот вечер. До двенадцати ночи пили и плели языками уже черт знает что.

– Любил Лазарь открывать чужие почтовые ящики. Письма чужие читал, гад. А газеты, скотина, так и вовсе не возвращал.

– Да он, знаешь, – встревал пьяный Лупенков. – Да он, знаешь, как по чужим кармана шарить любил! Бывало, после атаки к вешалке прижмется и по карманам! Враз всю мелочь пересчитает. Мелочь любил.

– Все любил.

– Меня хотел изнасиловать один раз, – сказала комсомолка Лида.

– Э-эх! Только портил клумбы.

– Нельзя про покойника говорить плохое. Нельзя.

Но они говорили, потому что очень много было выпито и съедено.

Когда над Москвой, заслоняя звезды, проплывал дым Лазарев, пьяненький Ларионов брел по трамвайным путям. И был он так крепко пьян, что когда упал и на ноге кость треснула и три ребра у него надломились, он поднялся и как ни в чем не бывало побрел дальше. Такой пьяный был, что ничего нового в себе не почувствовал. И того не почувствовал, что дым Лазарев плыл над его головой.

Дом и сад

1.

– Добба!

Трое мальчиков и худая женщина обернулись. Обгоревшее дерево вместо Раппопорта – мужа ее и отца их. Мальчики держались за мать и таращились вверх, где ветер раздувал волосы Добы и огонь в полнеба.

И не в том ужас, что красный петух вознесся над их головами, и не в том, что они страдали от ожогов и ссадин, а в том, что Добу переполняли чувства греха и свободы. То, что Раппопорт называл будущим и обозначал как ограду Торы, Доба боялась, как бояться загона дикие животные. А случилось это с Добой, когда она захотела еще родить, но уже не от него, а на воле.

Гражданская война прикуривала домами гетто, евреи бежали в города. И в Гомеле Раппопорт потерял свою Добу. Она исчезла с Сережей-половинкой. Он был моложе ее на шестнадцать лет, играл на гитаре и верил в Троицу.

Раппопорт ушел в приймаки к Сусанне-молочнице. Шил сапоги, мальчики учились не плакать. А снилась Раппопорту рыжеволосая Доба до конца дней его.

Если люди не могли закончить войну, она приканчивала их.

На краю зеленеющего оврага, так вот, на краю, за мгновение до гибели, Раппопорт увидел младшего сына Леву на пожаре – он держится за Добу, на кончике носа содрана кожа, курчавый и любимый. Такой любимый, что пуля, вошедшая в Раппопорта, не причинила ему боли.

2.

Ленинград стыл сквозняками весны 41-го, и, кто боялся одиночества, влюблялись. Леву Раппопорта привела к себе в общежитие черноволосая Нелли Буксбаум.

Комната бредила музыкой дождя. На разбросанных одеждах они любили друг друга. Сияла ночь в ее близких глазах и громкий шепот ее пах сиренью. Она была в нем, и он был в ней.

Реплики города крепли с рассветом.

Лева держал в своих ладонях лицо Нелли и чувствовал жилки на ее висках. Они могли бы полвека любить друг друга.

– Когда я вернусь…

Последняя ложь.

Война писала сценарий короче.

Он отправлен был на фронт. Блокадный город не помнил нежность.

Родильный дом 42-го, разбомбленный, кричащий и схваченный огнем, превратился в дом, который нечаянно свалился на солнце.

Нелли умерла в родах безымянного сына. Имя новорожденному успел прислать до своей гибели с фронта Лева: «Назовите его Илья Раппопорт».

Он сделал все, что мог.

Дети взрослели по числу снежных заносов. Когда вьюга полночная глохла в стороне, когда сироты сидели напротив печи и валежник свистал в огне, и детских теней громады лежали на красном полу, все в ожиданье – вот-вот треснет смоляной сук ели…

Снег долго-долго прятал лед Невы, как прячут за пазухой деньги. Но весна надышала струи подо льдом, соскоблила с зари облака.

Он плакал. Это бывало, когда у кого-то из детей обнаруживалась родня. Будь у него мама, он не стал бы ее огорчать.

В детском доме не говорили о любви, эта зона сгущала несчастья.

3.

«Дело врачей» отделило среди подростков «других». Илье дали приставку «еврей». Его так упорно называли «евреем», что видя в зеркале долговязого с курчавой головой пацана, он поверил: я – еврей.

Ну, это как «я вор». И только когда Илья играл на бог весть кому принадлежащем контрабасе, когда свет прожектора падал на контрабас, а звуки виделись из темноты, он был любим. Зимой 56-го он и Толя Кутузов – флейтист от Бога. У музыкального училища не было общежития, парни жили на скотобойне – загонщики молодняка. Моцарт в цехе освежеванной скотины. Зато легко из детдома идти в армию.

Илья охранял сухумский маяк, которому никто не угрожал. Из точного оружия была его женилка, но о достоинстве своей женилки он не догадывался пока не встретил ту, которая шла по урезу воды. Он возвращался в часть после концерта с контрабасом переполненный музыкой и сантиментами. Луна обещала прилив,

а выброшенный на берег деревянный лежак был оправданием праздничного города. После долгого поцелуя он сказал.

– Ты очень красивая, Света, – сказал Илья.

– Я знаю, – сказала Света.

Она привлекла его к себе так, что он почувствовал ее.

– Илья, не хочешь ли ты?…

Каждое такое свидание стоило ему сутки на гауптвахте. Иногда – трое суток, другой раз его затоваривали от концерта до концерта. Зато она родила Николая и Галю.

Илья подвел черту под сиротством.

Утро в Сухуми открывали петухи и минареты, будто соревновались.

Через дырку в заборе просунул голову Николай.

– А где Гога? Та-амар!!!

В ответ колыхнулся розовый абажур – такая круглая была Тамар.

– Гога дрыхнет без задних ног. Зачем ты его ухайдокал вчера?

– Это море. Мы на камни лазили.

– Вы же исраелиты, а не дикие козы.

– А когда Гога выйдет?

– Нино, если ты Гогу опять потащишь на камни…

И в это время вышел в короткой рубашке – свободно гуляла пиписька – Гога.

– Нино!

– Гога!

Загигикали, словно уже летят в воду. Такие дела. Тамар переливалась гневом, удивлением и радостью. То есть всеми цветами радуги. Мальчики забрались на абрикос, они для Тамар недосягаемы. О, Тамар! Она жила в царизме, в коммунизме, в эвакуации. И всегда была такая толстая и такая добрая. Эти мальчики, видать, последние ее мальчики, поэтому она любила их как никогда никого. Ради них она отдала бы жизнь свою. Жила в ожидании вот такого утра, оно повторялось из года в год.

4.

Николай в восемнадцать лет помогал Илье строить дом их и познавал себя через слова.

Дом и сад – вот о чем мечтал Илья Раппопорт и этой мечтой вдохновлял Светлану и детей своих.

Его за это любили другие.

Николай упрощал слова в стихах. Каменотес слов. Гога, Николай и Нино за столиками кафе «Парус» пили розовую как

марганцовку, едкую и вонючую чачу. Под ними шлепали тяжелые волны о ржавые сваи.

– У нас есть мясо по-абхазски, шашлык по-грузински, – улыбнулась Аида, сухумская армянка. – Если хотите, есть русское пиво.

В двадцати метрах от уреза воды переваливался на волнах рыболовецкий баркас.

– Нино! Нино! – звали оттуда.

Лунной ночью весенней травой дышали они, он вдыхал молодое женское тело, покрытое золотым пушком, пахнущее ландышем.

Николай влюбился в голос Нино. Все ее хотели. Но она впустила Николая в себя. Так что она должна была забеременеть, но ему не довелось услышать от нее об этом. Его забирали усмирять чеченцев, то есть рыть окопы вокруг Грозного, а может быть, свою могилу.

На чеченской войне главное дело Николая – помнить о смерти. Пока Николай помнит о смерти, он остается живым. На этой войне тщательно взвешивали не то, что каждый шаг, но даже каждое слово. Чеченская война – это шатание между злом и бедствием.

За сотни километров от той бойни потел Сухум и пахли розами женщины. Штаю Ардзинбы изготовлял наклейки на дома других, чтобы Сухум им стал могилой. В ночь факелов наклейки с трудом держались на косяках ворот. Абхазы вприпрыжку бегали с винтовками по дворам, но не стреляли. Следом грузины сбрасывали бомбы, но не попадали. Дома с наклейками загорелись с зарей. Раппопорты бежали – так Лот бежал из Содома. А старая Тамар – как она могла уйти? Она родилась и состарилась здесь – сгорела заживо.

Беженцев принял Краснодар. Барак, где комната досталась Раппопортам, был с козой на крыше.

– Дурная примета. – сказала Светлана.

Но Раппопорт и пальцем не пошевелил. Он теперь играл на контрабасе в сохнутовском ульпане. С ним случилось то, что случалось теперь со многими. Пространство отторгало их. И гонимые освятили время. Время для них дышало свободой и смыслом.

Слово «алия» вобрало в себя Раппопорта со всеми его потрохами. Он влюбился в близкое будущее. Это как встреча в дороге – любовь без оглядки. И главное – выбор сделан. Не по воле рожден человек и не по воле умирает он, но по своей воле живет. Алия давала надежду. Илья играл на контрабасе, а Галя с Николаем переписывали слова.

Потерять – лэабэд

Прошлое – авар

Кто пришел? – Ми ба?

Я – ани

Ты – ата

Ну, разве что Светлана тем временем, гадала в Комитете беженцев: кому какой достанется участок под дом и сад. Она была неутомима, как сошедшие с ума. Еще не остыл пепел сожженного абхазами дома в Сухум, а она уже готова закладывать фундамент в Краснодаре между кладбищем в степи и тюрьмой, страдающей туберкулезом.

5.

По краснодарским степям в ту весну гулял призыв сионизма.

У Ильи нездоровый блеск в глазах. Как лунатик, шагал он с транзистором, прижатым к щеке, в ушах звенел «Голос Израиля». Он сравнивал Черное море со Средиземным и Черное выглядело помойкой.

Раппопорты просились из России.

– В Израиле мы заработаем деньги, – сказал Илья жене своей Светлане.

Это звучало как разводное письмо. Утро. Три градуса выше нуля. Продрогшие деревья. Весна. Ветер сдувал с аэродрома пыль, пустынно было и безгласо, и расставание граничило с утратой смысла происходящего. Гнездо евреев и бомжей перед разлетом.

Жара и ослепительность Израиля для северной души морока.

Там-та-ра-ра-ра-там! Тара-рам-там!

И запрыгали холмы, как овцы.

Страна без сна. Беззаботные толпы сновали по набережным Тель-Авива, митинговали леваки на перекрестках улиц, танцевали марокканцы на площадях с «узи» за плечами. Цицит не в моде по сравнению с «узи».

Мы всегда умели окружать себя проволокой и врагами, – сказал сосед Раппопортов ватик Сеня Самарский. Он был в Москве «сиротой алии», здесь – профессиональный голодовщик. Платите – голодаю. Честняга, сбросил с костей своих все.

– Мы в том же небе, слава Богу. Соприкоснешься с вещью, не прикрепляйся близко к ней. Искушение… – философствовал он за пивом.

На складе металлолома им разрешили жить, работать сторожами и сваривать ограды.

– На Дизингофе мне стыдно, что я нищий русский, но когда я

сижу здесь, у себя…

Приходили старики из Бейт-авот. В этом металлоломном кафе Николай читал стихи.

Небрит и колюч,
Я неспроста оставил в двери ключ.

– Хищная рифма! – выкрик.

Николай обустроился в голубятне с видом на хасидскую ешиву, где радиоголоса сторожевых собак разыгрывали переклички. Тель-Авив прел во влажной духоте.

В субботу Илья не играл на контрабасе. Люди с пейсами запрещали себе и другим играть в выходные. Но, как и тысячу лет назад, в их власти лишь придорожные камни и музыканты.

Иногда отношение человека с новым местом рождает безумие.

6.

Николай мог бы в Сухуми рыбачить и писать стихи, но случилась война. В Израиле его снайперский глаз рано или поздно приведет его в десантники, когда на складе кончится металл.

Он обрастал друзьями и любовью. Русская любовь отверженных. Потому что чужая страна – всегда метафора своей.

Слова влетали в голубятню продрогшие и настороженные, припорошенные расставанием.

Легко проснуться и прозреть,
Словесный сор из сердца вытрясть.

Базарные окрики «Шекель! Шекель!! Шекель!!!» будили голодных спозаранку. Из голубятни видны редкие деревья и плоские крыши – ужимки наспех выстроенного города.

Когда разгулялось и утро собралось с духом, Николай подписал контракт с цахалом.

Последний тест на озере Кинерет – антитеррор. Антитеррор – это убить другого.

– Брод, Пауков, Раппопорт, Иванов и Богомольный! Равняйсь! Кто мочится во сне, признавайся сразу, – сказал на иврите лейтенант Пинхасов. – Вопросы есть?

Они валились с ног от беготни туда-сюда. В первую ночь на

блокпосту снился вчерашний день.

Днем Пинхасов учил стрелять из «узи» Иванова.

Рота на защите израильской границы.

– Будем бить «духов», – сказал Вася Пауков, рыжий штангист легчайшего веса.

Холмы Ливана синели на горизонте, как на плохом телеэкране. Хотелось сродниться с землей и зарыться в нее от солнца и неизвестности.

– Раби, – обратился к лейтенанту Брод, – у Иванова очки упали.

– Лейтенант, – спокойно поправил лейтенант.

– Раби, он очкарик.

Брод будто издевался над лейтенантом.

– Как ему не стыдно, – серьезно сказал лейтенант. – Есть две постыдные вещи: мочиться под себя и носить очки.

Минута молчаливого размышления над каменистым полем и заросшими холмами.

Минные поля ограждали себя от кровных братьев, ибо надоело Земле глотать кровь. В лесу растяжки между деревьями заросли паутиной и теперь земля ненавидела человека.

И когда никто не хотел умирать, пришла музыка хезболлах. Не фонограмма пуль, не какая-то симфоническая фанера, но ухнул гранатомет. Лейтенанту Пинхасову оторвало ногу по колено. Его и Брода отбросило на камни, кровью истекал Пинхасов. Автоматные пули и разрывы гранат приговорили израильтян и палестинцев к этой музыке смерти.

– Прикрою, – выдохнул Николай.

Это в нем заговорил сухумский футбол, Тамар, мать, отец, сестра. И все разом кричали. Кричал Тель-Авивский базар.

– Хацилим! Бананот! Тапуа!

– Гахаяль хазэ нэхэраг! (Этот солдат погиб).

– Говори по-русски.

– Он прикрывал раненых и погиб.

– Есть документ, что мать его еврейка?

– Хамисмахим ло нимцеу. Таазор ли бэвакаша. (Документ не был найден. Помоги, пожалуйста).

– Закон запрещает хоронить нееврея на еврейском кладбище.

– А погибать нееврею за еврейскую землю?

– Лама ата омэр ли эт зэ? (Зачем ты мне это говоришь)?

– Мамзер! (Вот гад)!

– Вуз-вуз![1]

На Рош-А-Шана сионист из Америки для Ильи и Гали Раппопортов купил номер в отеле с видом на море.

– Это ваш дом в Израиле. Живите до ста двадцати. Это в

память о герое Израиля Николае.

7.

Но им нужно было доставить тело Раппопорта в Краснодар, где его ожидали Светлана и могила.

На черном мраморе высечен крест.

Каждый день, во все времена года на рассвете сошедшая с ума несчастная Светлана, Илья и Галя приходили на могилу Николая.

По вечерам Галя учила английский.

Лучшие мгновения

Музыка Шопена, искренняя, как падающий снег за окном, вдруг придала смысл январю. Квартира Лернера – пересечение Ленинского и Академической. Из-за золотистых обоев многолюдная гостиная словно подсолнух…

Лернер заведовал кафедрой кибернетики МГУ до подачи документов на алию. Два года назад устроил еженедельный семинар инженеров. На юбилей отказники слетелись из Минска, Вильнюса, Тбилиси, Киева, Ленинграда.

Лернер играл Шопена. Звуки пробуждали воображение, где изгой улучшал мир. Так пророк освобождал рабов от идолопоклонства.

В гостиную вынесли самовар, горку баранок и печенья. Загомонили.

– Под Эрец Исраэль море нефти, – сказал Левич.

– Ее никто не видел, – удивился Абрамович.

– Когда везде исчезнет нефть, – сказал, прихлебывая чай, Левич, – ее найдут в Израиле.

– Там даже нет воды, – грустно сказал Розенштейн. – Чем торговать?

– Мы будем продавать песок, – встрял в разговор Басин из Минска.

– Святой землей торговать?! – прикинулся Абрамович.

– Евреи, – обратился к ним Лернер, – я прошу вас всех заполнить вот эти анкеты.

– Что это даст? – спросил Абрамович.

– Как что? Свободу! Конгрессмены будут на них ссылаться, мол, Абрамович, мирный строитель, он не мог знать государственные секреты.

– Почему я не мог знать? У меня был третий допуск.

– Что увозить в Израиль?

– Лучшие мгновения.

– Бог управляет миром через законы физики.

– Упал в водопад, расслабься.

На кухне Щаранский и Липавский играли в шахматы. Липавский пожертвовал пешку и подошел к окну.

– Машины у подъезда. Не за нами?

– А ты думаешь, что «Волга» только у тебя? – Щаранский принял жертву на шахматной доске.

– Вот так арестовали Бегуна, – Липавский вернулся к доске.

– Зря ты отдал мне пешку, Саня. Через три хода тебе мат.

– Тогда я сдаюсь, – обрадовался Липавский.

На кухню вошел Лернер с анкетами. Щаранский написал на листе: «Как будем выносить анкеты из квартиры?» «Я вынесу анкеты» – написал Липавский.

– У Лернера есть что-нибудь покрепче чая? – улыбнулся Липавский.

– Я теперь пью только кошерное, – сказал Лернер, – водку могу предложить.

– Люди расходятся? – спросил Липавский.

– Какой там! – засмеялся Лернер, – Альбрехт пришел. Это теперь до утра.

– Охота им слушать всякую чушь.

– Нет, это очень забавно, – сказал Щаранский.

– Ты любишь сказочки, – голос у Липавского сделался хриплым, и он откашлялся. – Никто ему не верит. Никто никому не верит.

– Почему? – удивился Лернер. – Черт возьми, если мы друг другу перестанем верить, все к черту пойдет. У КГБ весь расчет на это.

– Нам предстоит драка, – сказал Щаранский. – Их орудие: тайна, следовательно наше – гласность.

– Подожди, Толя! – перебил Липавский. – Нет, старик, честное слово, я тебя не понимаю. Ведь нас пересажают! Ну, кто будет ссориться из-за нас с Кремлем? Чихал Кремль на всех со своей колокольни.

– Понимаешь, Саня, твои предположения небезосновательны, но мы не должны сидеть, сложа руки, и ждать, когда нас выкупят, выпустят, вывезут.

– Мы рельсы алии, – сказал Лернер. – Так получилось.

На улице из машины вылез Лазарь Хейфец.

– Разомнусь, – сказал он напарнику. – Задницу отсидел.

Он похлопал себя по плечам, приседал. Сколько можно семинариться? Они все что, бездомные? Идиоты! Эх, разуться, опустить ноги в таз с теплой водой, а потом – в постель. Но предстояло задержать Щаранского, если он выйдет с анкетами.

– На кухне свет горит, а голосов не слышно, – окликнул Лазаря напарник.

– Водку пьют, – предположил Хейфец.

– Разве евреи пьют водку?

– Во дает! А я что, не еврей? Или водку, или по пиву ударили.

– А ты бы пошел к ним. Ты ведь тоже еврей.

– Так. Будем слушать Альбрехта, – сказал Хейфец. – Бери наушники.

«Я вообще хотел начать с некой цитаты, – дрогнувший голос Альбрехта, – но цитату забрали. Стоит что-то нацарапать, как тут же появляется некто и цап-царап. Можно понять их любопытство, но к чему такая жадность? И ведь не возвращают прочитанное! Одного редактора самиздатовского журнала вызвали на допрос. «Почему ваша фамилия на обложке журнала?» – «Не имею понятия». Когда он мне это рассказал, я говорю: «По-твоему, нужно созвать международный суд по выяснению причин появления твоей фамилии на обложке? Если тебе доверили быть редактором, то почему ты должен врать? Врать некрасиво. Говори остроумно: «Вы полагаете, В. Лазарис – это я?». Наверно, следователь опешит: «А вы разве не Лазарис?». – «Нет, отчего же, я тоже Лазарис». Улавливаете юмор? Следователь, я думаю, тоже оценил бы такой ответ!

А вот еще один нетипичный случай. Слушал Кац «Би-би-си». И вдруг узнает: его коллега Каплан попросил политического убежища в Англии, а у Каца хранился портфель Каплана. Кац отнес портфель на вокзал в камеру хранения. Четыре дня мучался: а вдруг там деньги! А что еще мог хранить доцент мясомолочного института? Кац вернулся на вокзал, открыл ящик, и тут же его накрыли: «Ваш портфель?» Между прочим, менты тоже надеялись, что там деньги. Короче, Кац во всем сознался. Менты накатали телегу на Каца. И вот партийное собрание.

– Ты скрывал портфель предателя! – Каюсь. – Откуда он у тебя? – Он дал. – А для чего ты «Би-би-си» слушаешь?

Понимаете, все слушают «Би-би-си», но они не выпали из трамвая, а Кац вывалился. Ну, и выгнали его из института. Он подал документы на выезд в Израиль, и вошел в число великомучеников. В Америке на каждом перекрестке плакаты «Свободу Кацу – отцу русской алии!» И что примечательно: об его отцовстве американцы знают исключительно со слов самого Каца. Американцам нужен символ алии. И вот он: мученик, герой! А он так… ну ничего… жив-здоров. Вы меня поняли?»

– Так что там было, в портфеле? – спросил Лернер.

– Открытки с голыми бабами.

Альбрехт откинулся на спинку кресла и закинул ногу на ногу.

– Число желающих покинуть СССР растет как эпидемия из-за одной фразы: «Ваш отъезд не в интересах государства». И вот уже десятки тысяч евреев боятся упустить момент сжечь корабли, убежать от постылой жизни. Душу терзает страх перед неизвестностью, но как пьянит чувство предвкушения новизны.

– Володя, тебе поставить графин с водой? – тонкие губы Лернера вытянулись.

– Можно даже графин вина, – засмеялся Альбрехт. – Итак,

власть заразила вас горячкою бегства. Плевать на твою искренность намерения «воссоединиться с тетей из Хайфы», и на твою чистоту еврейской крови, и на твою Богобоязненность, на желание кушать только трефное.

– Кошерное! – проснулся Слепак.

Все захохотали.

– Кошерное, поправился Альбрехт. – Вы помните «самолетное дело»? Кузнецова и Дымшица вели, с ними играли для грандиозного спектакля «Алия из СССР». Ведь были серьезные причины пресечь угон самолета, как только Кузнецов об этом вслух сказал.

– А на что Господь Бог? – улыбнулся Розенштейн. – На все Его воля.

– Альбрехт развел руками.

– Не исключено, Гриша. Но тебе не приходила мысль, что от тебя уже давно хотят избавиться и передать твою четырехкомнатную квартиру на Юго-Западе более достойным товарищам. Ведь получил ее ты от государства бесплатно. Время требует тебя выпихнуть не мытьем, так катаньем. А ты умирал от страха. Когда подавал документы на выезд.

– Выдавали бы комсомольские путевки, – Гриша аж привстал.

– Выдавали. В сорок восьмом году Сталин откомандировал группу офицеров в Израиль. Ну, хорошо, вернемся к первым вашим шагам. Вы отдали в ОВИР свое заявление, справки с места жительства, из военкомата, характеристику с места работы, квитанцию из банка об уплате первого взноса за визу и, наконец, вызов из Израиля. Я ничего не упустил? Итак, на вас заводят ДОПР – Дело оперативной проверки. Как говорится, в России дело чтоб начать, нужна бумага и печать. Проверили. Настал черед за МВД – не их ли вы агент, были или нет судимы.

– Между прочим, – поднял руку Щаранский, – мне в Минске рассказывал Давидович, что делается «агентурно-оперативная установка»: собирают сведения о близких родственниках, опрашивают соседей, сослуживцев.

– Возможно, – согласился Альбрехт. – Наконец материалы собраны. О вас известно как будто все. Конец? Фиг с два. Теперь за вас берется КГБ. Действительно ли родственники за границей? Пригоден или нет к вербовке? Последнюю точку поставит выездная комиссия ЦК партии. Я вас не утомил?

– Ты нас обра-а-адовал, – по-скоморошьи замахал руками Гриша Розенштейн.

– Условия отъезда, Гриша, – улыбнулся Альбрехт, – это не только сам отъезд, но и прмер для назидания другим. Есть подозрение, что примерно у каждого сотого летевшего мужчины в

деле лежит обещание сотрудничать. Но это пустяк. Они уехали в свободный мир, и никто их не заставит… Разумеется, бумажка – это простая проверка перед расставанием. Главное – вы поддаетесь вербовке.

– Стоп! Стоп, тезка! – поднялся Слепак. – Мысль твоя, что нами манипулируют, меня коробит. Я сам решаю свою судьбу. Мне надоело здесь, и я хочу уехать. Таких большинство.

– Верно, – сказал Лернер. – При выезде сотен тысяч людей вступает закон больших чисел.

– Наверное это так, – кивнул Альбрехт. – Но между прочим, военкоматы умудряются свести к минимуму призыв одноногих и долгожителей старше ста лет. Когда человеческая масса фармируется не стихийно, а подчинена отбору с самого начала, закон больших чисел уже не столь неумолим. Уже необязательно ограничиваться репрессиями диссидента, можно заставить его уехать в Израиль. И потом, выезжая легально, сохраняем связь с теми, кто остался в Союзе. И смываются грани.

– Вопросов целая торба. Но что с тебя возьмешь, если все это твои домыслы, – сказал Абрамович.

– Да, мои домыслы, – улыбнулся Альбрехт.

– На евреях оттачивается инстинкт власти. В этом наша заслуга перед Россией, – сказал Левич.

– Заслуга перед нашим народом, – сказал Лернер, – если завтра наденем желтые звезды и соберемся на митинг у здания ЦК КПСС.

– Жаль, Лунца нет. Он бы у своего знакомого чекиста, будут нас арестовывать или нет.

– Брать теплое белье с собой не нужно, – усмехнулся Слепак. – Наша работа – садиться на пятнадцать суток. Вышел, отдохнул и – снова посадка…

На митинг у ЦК КПСС собралось полсотни отказников. Ледяной ветер.

– Не разбегаться, – сказал Слепак «сиротам алии».

– Замерзли, – Андурский потирал уши.

– Ну, и куда вы?

– Пирожки купим и вернемся.

– Ну, кто ж митингует с пирожками? Здесь полно западных корреспондентов.

– А мы по дороге съедим.

Пока «сироты алии» бегали за пирожками, милиция арестовала на Старой площади тридцать человек и увезла их в автобусе.

– Опоздали, – развел руками Семен Андурский. По его лицу

не видно было, что он расстроился.

Январь 1977-го. Полдень. Из парадной двери синагоги по заснеженной лестнице сыпанули старики с талитами и молитвенниками под мышкой. Напротив синагоги вокруг дуба сугробы трамбовали отказники.

Для многих активистов вчера закончились пятнадцать суток ареста за митинг на Старой площади с желтыми звездами на рукавах. Отсидели свое инженеры из Минска, Киева, Вильнюса, Тбилиси, Кишинева. А сегодня они здесь.

Горка напоминала пересыльный пункт.

– Привет, Брайловский, – окликнул Слепак. – Классно выглядишь.

– Штаны спадают.

– Пятнадцать суток пошли на пользу.

– Чего не скажешь о тебе, – улыбнулся Брайловский. – Ты и в тюрьме курил?

– Но ведь, Витя. – запыхтел трубкой Слепак, – Дзержинский в тюрьме тоже курил.

– Так ты сравниваешь себя с Дзержинским?

Американские туристы шли с дарами: фотоаппараты, магнитофоны, джинсы. Щаранский размахивал большим конвертом, как флагом.

– Джимми Картер солидарен с нами!

– Ты уверен?

– Я уверен, что он наш друг.

Борьба за еврейские голоса в Америке.

– Джимми Картер кандидат в президенты Америки.

– Значит, мы что-то значим для Америки!

– Телеграмма от Картера!

Лева отыскал «сирот алии» Семена Андурского и Гарика Авигдорова.

– Кто со мной на Первомайскую в мастерскую ремонта шахматных часов?

– Я по субботам никуда не езжу, – сказал Семен.

– А сюда?

– Сюда можно. Ты коэн, твою мать. Ты должен нас благословлять в синагоге, а не ездить по ремонтным мастерским.

– Общественная нагрузка.

– Подписывайте письмо в защиту Бегуна, – к ним подошел Файн.

– Иосифа не освободили?

– Нет. Четко пишите свое имя.

– Адрес указывать?

– Не надо, вас и так найдут.

На горку поднялись чета Розенштейнов.

– Коэн, почему ты по субботам ходишь с портфелем?

– Гриша, это в последний раз.

– В последний раз в эту субботу.

– Гриша, как было в тюрьме? – спросил Лева.

– Расскажи мешореру, – сказала Наташа.

– А ты, – он улыбнулся, – только правду пишешь?

– Стараюсь.

– Ты знаешь, в камере было уйма интересных людей. Мой сосед по нарам отсидел восемнадцать лет и эти пятнадцать суток ему дали за пьяный дебош. Он их принимал, как каникулы после года вольнонаемного труда на заводе.

– Ты на митинге ожидал ареста?

– Нет, я надеялся, что минует нас чаша сия.

– Ну, ладно-ладно, – вздохнула Наташа. – расскажи мешореру. Что вы там ели.

– Нас кормили на 38 копеек в сутки. 450 граммов хлеба. Хлеб специальный из Бутырки. Бывал рыбный суп. Вполне густой. Если со дна. Еще на обед полуторасуточные щи из капусты и на второе капуста ярко-красная.

– А о чем говорили в камере?

– Обычно про женщин и еще о нацменьшинствах.

– Тебя-то как?

– Из двадцати восьми никто меня ни пальцем не тронул, ни словом. Я как-то сам говорю: давайте про евреев поговорим. Я им доклад прочел. Начальник тюрьмы мне как-то сказал: «Ну, зачем вы так рветесь в Израиль? Что там, что здесь – один хрен». Такие дела, мешорер.

– Иосифа оставили в тюрьме, – сокрушался Андурский. – Почему всех отпустили. А его нет?

– Он обратился к ООН с требованием бойкотировать СССР, – сказала Наташа.

– Во-о дает!

– Жизнь нашу, то, что с нами сейчас происходит, – сказал Гриша, – нужно переосмыслить с мистической точки зрения. Вот хасид Бешт углубился в каббалу, общался даже с архангелом Михаилом. Нам нужны не общественные лидеры, не эти субботние сборища на Горке, а нужны цадики. Вся наша история показывает, что, в сущности, когда евреям очень плохо, на помощь приходят цадики. Вот сейчас нам очень плохо, а где наши цадики? То-то и оно. Был один в Кишиневе, но он уехал.

– В Израиль? – спросил Гарик.

– Не знаю. Мы потеряли мистическую связь с Богом. Нужны усилия отдельных людей… Маразм разъел еврейство.

В половине пятого вечера Лева, Семен и Гарик в вестибюле станции метро «Площадь Ногина» склонились над шахматными часами. Подошел дежурный милиционер.

– У вас есть отвертка? – спросил Семен милиционера.

– Ножичек подойдет?

Семен ткнул в пружинку часов.

– Осторожно, – ахнул Лева.

– Пустяк, – сказал Семен. – такое не взрывается.

– Вон, проволочка прогнулась, – сказал Гарик. – Дай-ка ножичек.

Каждый считал своим долгом ткнуть в часы ножичком.

– Дохлые часики. А ты их завел?

– Заведены они до предела.

– Давно купил?

– Они месткомовские.

– Что? – Семен отпрянул. – Я деньги твои пожалел, а раз месткомовские, забирай!

И он в последний раз ткнул ножичком в часы.

– Я поехал на Первомайскую.

… Перед станцией Первомайская вдруг раздался хлопок, потянуло запахом горящей резины. Пассажиры переглядывались и беременели страхом. Уже грохотал туннель, когда второй взрыв-хлопок заставил всех в вагоне вскочить со своих мест. Густой желтый дым поплыл над головами. Поезд наконец выехал на платформу. В соседнем вагоне выбиты окна, он черный изнутри. Мужчина вынес окровавленную девочку, сам он обсыпан белой трухой обшивки вагона. Крики, стоны, убитые, раненные. Смеялась полная женщина, сброшенная на пол, она лежала в луже крови с оторванной ногой. Нога валялась перед ней, и она смеялась.

Два подвыпивших школьника бродили между колоннами. По перрону пробежали машинисты. Им кричали: «Где скорая»?!

У колонны лежала молодая женщина. Пьяный мужчина с папиросой остановился и вдруг лег рядом с ней.

– Давай познакомимся.

– Уйди…

Юрий Орлов приехал из подмосковной деревни, и Алексеева собрала у себя московскую Хельсинкскую группу правозащитников. Щаранский и Слепак приехали на машине Липавского. Андрея Сахарова привез американский корреспондент Оснос. В квартире уже вовсю праздновали Старый Новый год.

– Я не могу избавиться от ощущения, что взрыв в метро –

самая опасная за последние годы провокация, – сказал Андрей Сахаров.

– К вам проявляет огромный интерес Запад и лично Картер, – сказал Оснос. – Андропов ограничится обысками.

И тут же раздался звонок в дверь.

– Милиция!

Вошли в прихожую трое.

– У вас есть ордер? – спросила Алексеева.

– Нет. Я участковый. Ну что же вы нас держите в передней, пригласите в комнату.

– С новым годом, граждане, – сказал человек в штатском. Он увидел Орлова и улыбнулся. – Вот кто нам нужен.

Вечером по первому телеканалу показали фильм «Скупщики душ». Мелькнули Бегун, Лернер, Щаранский, Рубин.

Липавский и Щаранский смотрели фильм в квартире, которую они снимали.

В эту ночь Липавский не мог уснуть. Он лежал в темноте, заложив руки за голову и представляя себе то седобородого Слепака, то разгневанную Нудель, то коротышку Лернера. Все равно он не сможет им ничего объяснить. У него и слов таких нет. Он знал, что так получится.

В комнату вплыл рассвет. Щаранский спал, одна рука сползла с койки, рядом на полу «Нью-Йорк таймс».

На подоконнике банка с кофе, пустая пачка сигарет, надломленная плитка израильского шоколада. На шахматной доске сваленные фигуры.

Завтра Липавский улетит в Ташкент, якобы для того, чтобы присутствовать на судебном процессе отказника Сабирова. Скорее бы уж навсегда сбежать от этой запрограммированной жизни. Если это возможно.

Газета «Известия»:
«В президиум Верховного Совета СССР
Копия: В конгресс США
Копия: В Организацию Объединенных Наций

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Гражданина СССР, кандидата медицинских наук С.Л. Липавского.

Мне нелегко было взяться за него, но после долгих мучительных раздумий я пришел к выводу, что должен это сделать. Может быть, это открытое письмо раскроет

глаза тем, кто еще заблуждается, кого обманывает западная пропаганда, кричащая на все голоса о преследовании в СССР «инакомыслящих», и которая раздувает так называемый вопрос о «правах человека».

Начиная с 1972 года я связал свою судьбу с лицами, которым по определенным, основанным на существующем законодательстве мотивам было отказано в выезде за границу и которые крикливо начали спекулировать на вопросе о гражданских правах. Хотя у этих лиц были различные взгляды на формы и методы действий, у них была единая платформа – и единый руководитель – американская разведка и зарубежные антисоветские организации. Они систематически получали по неофициальным каналам инструкции… Их деятельностью руководили Д. Азбель, А. Лернер, В. Рубин. Поскольку я оказался своеобразным секретарем В. Рубина и хранителем архива, то был в курсе всех планов и намечавшихся акций, которые, как я понял потом, имели цель нанести ущерб интересам СССР… ими руководило желание подогреть эмиграцию из СССР и стремление подрывать устои Советской власти. В связи с этим выдвигались идеи по проведению в Москве незаконных, а по существу, провокационных мероприятий в виде созыва «международной конференции физиков», «международной конференции по еврейской культуре» и т. п. … А. Лернер предложил организовать негласный сбор информации о тех советских учреждениях и предприятиях, которые работают на оборону, с тем чтобы убедить западные фирмы под этим предлогом прервать поставку технического обору-

дования в СССР. В.Рубин должен был после отъезда из СССР провести в США соответствующие консультации по этому вопросу и известить А. Лернера… И хотя были возражения против сбор таких сведений, поскольку это уже являлось явным шпионажем, А. Лернер, тем не менее, поручил А. Щаранскому и другим организовать получение такой информации и переправить ее за границу… Я убедился также в том, что под личиной борцов за «права человека» маскируются авантюристы, стяжатели, главная цель которых состоит в том, чтобы за счет устраиваемых провокаций… создать себе рекламу. Я был свидетелем постоянной грызни за лидерство и распределение средств, получаемых из-за рубежа, между

А. Лунцем, М. Азбелем, А. Лернером. Я все более убеждался, что деятельность этих прихвостней ничего, кроме вреда, советским людям не приносит, и это не могло не тревожить меня.

Я публично отрекаюсь от ранее поданного заявления о выезде из СССР в Израиль, так как считаю, что единственная Родина для меня – это Советский Союз.

С глубоким уважением,

С. Липавский.»

Когда Щаранский подходил к подъезду Лернера, у дверей уже дежурила «черная волга». Толя и Лернер сделали заявление на магнитофонной кассете: «Мы не занимались шпионской деятельностью и не сотрудничали с ЦРУ. И вообще, был ли Липавский?»

Свадьба и арест

Натан Щаранский влюбился в красавицу Наташу Штиглиц на курсах иврита. Это на площади Долгорукого, в квартире Слепака. Был стимул изучать язык. После занятия бродили по Тверской.

– Мне будет жутко не хватать тебя, – сказала Наташа. Полгода назад она подала документы на выезд в Израиль. А в начале января получила разрешение на выезд.

Очередное занятие ивритом срывалось. Слепак выставил водку и вино. Членов безуспешно пытался учительским голосом восстановить порядок. Но кто его сейчас будет слушать. Все радовались, за исключением Щаранского, он терял первую свою любовь.

– Я предлагаю тебе на мне жениться, – улыбнулась Наташа. – Идем завтра в ЗАГС. Так мне будет легче за тебя бороться на Западе.

Они шли по морозной Тверской. Он взял ее за руку, она крепко сжимала ее.

– Оглянись, – сказал Толя.

Она обернулась. Двое тренированных андропоидов плелись сзади.

– Меня арестуют при входе в ЗАГС.

– Мы уже муж и жена перед Богом и перед людьми.

– Госпожа Штиглиц, я предлагаю вам хупу.

– Я согласна, у меня есть семь дней до отъезда. Что нужно для Хупы?

– Ктуба, грамотный невредный еврей и бутылка вина. Ах да, еще кольцо.

– Или кольца?

– Только кольцо для невесты.

– Несправедливо.

– Как раввин скажет, так и будет.

Последовавшие за этим вечером шесть дней, шесть бесполезных дней не принесли удачи. Как только набожный еврей узнавал, что жених – Анатолий Щаранский. Он быстренько накладывал в штаны. Оставался иешиботник Хаим-Меер, он же сторож синагоги, он же переписчик Торы. Ему было 30 лет, с красными кудрями и всклокоченной бородой, синие глаза его выглядывали будто из огня.

– Ктубу нужно писать на арамейском, – сказал Хаим-Меер.

– А вы не умете… – подсказала Наташа.

– Умею. Но я не знаю, зачем.

– Я заплачу, – сказал Щаранский. – Хупа должна быть завтра.

– Арамейский, срочность, это вам выйдет в двести рублей. Но я вам говорю: нет.

– Завтра, в шесть утра. В Кривоколенном переулке. Это рядом, – сказал Щаранский.

– Нет.

– У меня самолет в три часа дня, – сказала Наташа.

– Вы оба евреи по маме? Как ваша фамилия?

– Щаранский.

Иешиботник внимательно посмотрел на Толю.

– Где-то я вас видел. Точно, по телику.

– Набавить вам за риск? – усмехнулся Толя.

– Я уже двадцать раз сказал: нет.

– Там еще будут зарубежные фотокорреспонденты.

– Нет, нет и нет!

– Пятьсот рублей.

– Как вы сказали: Кривоколенный переулок? Дом номер?

Утром следующего дня восемь мужчин, не считая иешиботника, собрались в Кривоколенном переулке на пятом этаже. – Нужен еще один еврей, – сказал Хаим-Меер, платок его был надушен жутким одеколоном, он то и дело прикладывал платок к лицу.

– У нас нет лишнего еврея. Ни лишнего еврея, ни лишнего времени, Хаим. – сказал Слепак. – Вперед, или мы набьем твою прыщавую морду. У моей Маруси есть для тебя мазь. Ну, начинай.

– Я без миньяна не начну.

– Но это же не молитва. – сказал Липавский. – Для Хупы достаточно два свидетеля.

– Сначала будет молитва, – сказал Хаим-Меер.

– Ты уверен? – спросил Щаранский.

– Я написал ктубу, а вы ее подпишете. Вы и ваши свидетели. И приготовь кольцо, Щаранский.

На столе лежали в трубочку свернутая ктуба и талит, стояли бутылка с бокалом.

Слепак с бородой ресторанного швейцара и Абрамович вышли на двадцатиградусный мороз ловить еврея. Слепое от солнца небо.

– Нам нужен еврей для молитвы, – остановил Абрамович старика с болонкой на поводке.

– Фас его! – приказал старикашка. Болонка залаяла овчаркой.

И вдруг из-за угла выбежал в распахнутом тулупе пограничника майор КГБ Лазарь Хейфец. Он потерял в метро Слепака.

– О! – воскликнул Слепак. – На ловца и зверь бежит!

– Кто зверь? – запыхавшись, остановился Лазарь.

– С нами пойдешь, раз в жизни послужишь по прямому назначению.

– Обрезание будете делать?

– А уж это как будешь себя вести, товарищ майор.

Под ослепительно-белым талитом стояли Толя и Наташа, а иешиботник Хаим-Меер освящал их любовь, которой было суждено столкнуться со звериной силой КГБ. Толя взял ее руку, надел кольцо и повторил на арамейском за Хаимом-Меером:

– Гарей ат мекудешет ли бетабаат зу кедат Мошев е Исраэль.

Такая нежная рука у нее, но она уже далеко и вся она от неизбежного. От неизбежного его печаль. Для нее тоже эта свадьба больше похожа была на Йом Кипур. Они переживали первый опыт расставания. Он знал, что суждено быть арестованным, но молил сейчас Господа пережить эту хупу, а потом и проводы любви, быть может, навсегда.

Липавский ловко откупоривал шампанское, но Хаим-Меер предусмотрительно принес прошлогоднюю пейсаховку для жениха и невесты.

Через час белая «Волга» Липавского доставила молодоженов в Шереметьево. Они шли в окружении друзей к невидимой грани разлуки. Для тех, кто оставался, – мороз, ветер и безлюдье. Всеобщий обморок одиночек…

Липавский парился в бане, голый лейтенант лил кипяток на раскаленные камни, майор Хейфец чесал свое потное волосатое тело. Полковник Зверев вошел в простыне, как римский прокуратор.

– Завтра арестуем Щаранского.

Липавский взял запотевшую кружку с пивом и выпил залпом, как застрелился.

Эта суббота, как Йом Кипур, – так тревожно на сердце у пришедших сегодня на Горку. Лернер и Щаранский пришли в окружении иностранных корреспондентов. Слепак привел большую группу американских туристов.

– Я не выполнял поручения ЦРУ, – говорил Щаранский. – Я не верю, что Липавский – автор письма в «Известиях». Меня беспокоит арест моих друзей Бегуна, Гинзбурга, Орлова. Я член Московской хельсинкской группы. Кремль нарушает Хельсинкские договоренности, и Запад не имеет права молчать. Речь идет о миллионе евреев. Я всего лишь один из них. В связи с письмом в «Известиях» я опасаюсь ареста, но знаете, мы, как велосипедисты на канате, – ни остановиться, ни дать задний ход.

Делай, что должно, и будь что будет.

Майор Хейфец вошел в синагогу и позвонил на работу.

– В Сокольниках женские трусики дают. Посторонний голос. Он вновь набрал номер Пятого отдела КГБ.

– Брать по моей команде, – сказал Зверев. – Как только прокурор выдаст санкцию на арест, так Кочерга и загребет его.

– Лернера? – уточнил Хейфец.

– А ты не лезь в это дело, оборвал Зверев. – Лучше расскажи, что из окна видно.

– У каждого в руках «Известия», не Горка, а читальный зал. Эссас без газеты, он с беременной женой пришел.

– Опять беременна? – удивился Зверев.

– Красиво жить не запретишь, товарищ полковник.

– У нее отец в нашей системе работает, – сказал Зверев. – Ты его в синагоге не встречал? От Комитета новую квартиру получил для дочери-сионистки.

Вновь женский голос на линии:

– Я нарезаю лук кружочками и заливаю майонезом.

– А я жарю без лука. Беру мясной фарш…

Тем временем Лернер говорил толпе: «Я от этих передряг стал себя прекрасно чувствовать. Все болячки мои пропали. Я, оказывается, люблю драчку. Мне надо было боксом заниматься, а не кибернетикой. Мне, в отличие от Толи, чуждо то, что идя вместе с демократами, я невольно соглашался с ними, что чисто еврейская проблема не существует. Но для меня эта проблема существует, и только она была моим делом, делом, за которое я готов страдать и за которое я готов отдать жизнь, и это ужасное письмо в «Известиях», и эти преследования активистов алии только укрепляют меня в своей правоте».

– Хотите – я вас укушу? – высунулся из толпы сумасшедший нищий.

Щаранский, окруженный американскими туристами, рассказывал о важности Московской хельсинкской группы, о том, что он уже год как работает переводчиком Андрея Сахарова, о субботниках села Ильинки. Но американцев интересовал Липавский.

– Для меня Липавский не был загадкой. Он не предатель. Он ненавидит предательство, он не предал своего отца, когда тому грозила смерть. Липавский не мог написать такое письмо. Он сидит в тюрьме и не знает обо всем этом. Натерпелся он от своего начальства. Я как-то сказал ему: «Пожалуйся на них». Он ответил:

«Я и мухи не могу обидеть». Липавский всегда вел себя с большим достоинством.

– Ну, идемте фотографироваться. Американцы нас ждут на лестнице синагоги, – призывал Слепак.

Американцы не раз выходили на митинги и демонстрации в защиту советских евреев, и этот приход на Горку – важное событие в их жизни.

Сумасшедший нищий забрался на парапет синагоги, стал на четвереньки и по-собачьи залаял. А ведь раньше он тихо стоял под дубом в ожидании милостыни.

Предпасхальный Иерусалим. Дурманящие запахи весны. Перистые облака на синем небе. Новоприбывшим не хватало квартиры, машины, телефона.

Сегодня служба «Натив» устроила Виталию Рубину телефонный сеанс с Лернером и Щаранским.

– Что нового, Александр Яковлевич? – кричал Рубин.

– Ничего! – кричал Лернер.

– Как самочувствие?

И странно, вместо того чтобы плюнуть и повесить трубку, старик стал подробно рассказывать о семье, о погоде, о творческих планах. Так ведут себя счастливые люди.

– Я чувствую себя прекрасно. Уж было помирать собрался, и вдруг все болячки как рукой сняло. Опять же охраняют меня трое молодцов из КГБ, ходят за мной по пятам аж до самой двери. Никакие воры не страшны.

– Где Толя? – закричал Рубин.

– Я здесь. Привет Иерусалиму! У нас тут вовсю идут зимние игры по слежке и прессингу. За мной ходят восемь агентов. Это абсолютный рекорд после генсека, конечно. Такая честь.

– Вы молодцы, – кричал Рубин, – За вас борются мощные силы в конгрессе США, сенаторы Джексон и Веник, президент Картер. Мы здесь думаем, что с каждым днем опасность вашего ареста уменьшается.

– Я тоже так думаю. Даже обидно: так хорошо подготовились.

– Вы еще не утратили чувства юмора.

– Ну что вы, мы все время смеемся, – сказал Щаранский.

Закат солнца в Иерусалиме – это всегда бегство. Рубин в ночи то представлял себя в Москве – промозглую слякоть, допросы в маленькой комнате за крошечным столом, то он выступает на митинге у Стены Плача, то ужин в Старом городе при свечах, то вновь Москва, и ужас не отпускал его. Это он, Рубин, познакомил Липавского с сотрудниками американского посольства в доме посла на Собачьей площадке. Это он, Рубин, представил

Липавского второму секретарю посольства Стиву. Ему передавал Липавский анкеты, документы, книги и прочее. А если Стив – сотрудник ЦРУ? Рубин завербовал Липавского для ЦРУ – такое вот было бы обвинение в камере Лефортова.

Если бы Липавского раскрыли на полгода раньше, он выдал бы Рубина, и его посадили бы лет на десять. Все самое заветное он доверил Липавскому – проекты, заявления, документы. О, если бы он знал, что это самое потаенное он отдавал агенту КГБ! И за ним бы вот так, как за Толей, ходили агенты. Но он в Израиле, теперь он недосягаем и свободен…

Через три дня Анатолия Щаранского арестовали.

Русская красавица

Нинка, дитя войны, лицо – блюдце, мягкий курносик, коньюктивитный щелеглазик, а когда смеялась, выпрыгивали гнилые зубы; и над низким лбом редковолосый дымок челки. Мать не баловала: кислые щи, кислые блины, капуста, картошка – вот и все разносолы. Ее мать – Ксения – работала грузчицей на заводе шампанских вин, всегда красная, как винная вишня и злая, как пулемет. Ксения и Нинка прописаны были в коммуналке на Дербеневской набережной, пропахшей кожей и мочой. В большой комнате выделили им угол без окна: кровать, тумбочка и гардероб. Нинка носила синюю бархатную юбку и белую кофточку, она была поразительно жизнерадостная с певческим голосом. Она преображалась в походах… дым у костра, песни под гитару. В походах и в студенческом общежитии на Мещанке, когда разливалось вино по стаканам, и гитара оказывалась в ее руках, свершалось чудо – она была прекрасна.

Первым ее жидкие грудки заграбастал однокурсник Лева на сеновале во время уборки картошки в подмосковном совхозе «Серебряные пруды». Лева и Нина одни и слитны друг с другом, и не существовало ничего в целом мире, что могло бы превзойти высшую радость слияния. Их слияние было подобно брачному сочетанию Земли и Неба.

Сошлись – разбежались. Такая игра.

Нинка была экстремалка. Зимой – лыжный поход на Кольский полуостров, летом – поход на байдарках. А Лева вырос на Украине, в патриархальной еврейской семье. Куда ему до Нинки.

В Москве одиночество прибило их друг к другу. После занятий в МИСИ они приезжали в общежитие на Мещанку. Туповатый и рассеянный, с отвратным почерком – куда Лева без нее? Она помогала ему во всем. Зато когда он в метро целовал ее, она испытывала оргазм.

После окончания второго курса Нинка позвала Леву сплавляться на плотах по реке Туба – притоку Енисея. На этой реке староверы в деревянных лотках промывали золото. За золотом отправились две девушки и четыре парня. До Красноярска. В одном купе.

Нинке и Леве как самым щуплым доводилось днем прятаться от проводников под сиденьем. На вторые сутки студентов разоблачили, но простили – за песни. И еще раз повезло им уже в Красноярске – они купили билеты на «кукурузник» до Тубы.

За час до отлета рейс отложили на сутки и на заре другого дня они отправились в заповедник «Красноярские столбы», где

двенадцатилетние сталкеры рекламировали смерть альпиниста. Отдельные столбы были высотой до трехсот метров и у каждого было свое имя. Москвичей вел двенадцатилетний сталкер Дрон с болтающейся деревянной ложкой на шее. Помогали расщелины, уступы. Выпуклые огромные глыбы взгромоздились одна на другую, да так, что обратная дорога вниз – только за перевалом.

На семидесятиметровой высоте Дрон остановился.

– Здесь, – он поднял руку, а стояли они на очень узком уступе, – Надо подпрыгнуть и рукой ухватиться за корень. Он торчит на глыбе. Дрон подпрыгнул, ухватился за невидимый корень на возвышающейся глыбе – фантастический прыжок над землей на высоте 70 метров. Лева прижался к выпуклому теплому камню, внизу далекая и смертельная зелень земли. Подпрыгнуть и не ухватиться за корень – земля далеко, а смерть – близко.

– Лева, я беременна, – глаза ее в слезах.

– Я люблю тебя.

– Я беременна.

– Прыгай и хватайся за корень! Давай! – В нем пропала жалость к ней.

– Я не смогу.

Они держались за руки.

– Отпусти мою руку и прыгай, – сказал он, – ты мне сына родишь. Прыгай!

– Мне страшно.

– Прыгай!

О, как прекрасна она! Он, действительно, любил ее. Она это почувствовала и улыбнулась. Сначала Нина, потом Лева прыгнули, ухватились за корешок как за большой палец руки, и легко взобрались на глыбину. И уже до перевала никаких проблем не было.

На другой день самолет доставил их в Саянские горы, где начиналась Туба, где раскинулись пятихатки староверов. Над ними нависал сверкающий ледник с черной вкраплиной – разбитый самолет. Четыре дня москвичи шли вниз по течению, пока река не обрела глубину. Тогда они связали плоты. На первом была Нина, а Лева – на другом.

В этот же день первый плот налетел на подводную скалу. Слева двадцатиметровый каменный обрыв, впереди чудовищно пенились перекаты – смертельные жернова. Второй плот зацепил застрявший и он, развернувшись, поплыл следом.

За пятнадцать лет прожитых вместе Лева в постели имитировал сионистскую озабоченность, а Нина – оргазм. Потом им надоело.

Сын Андрей перерос их и улетел учиться в Англию на

реформистского раввина.

Лева запел кантором в синагоге, а Нина однажды сказала:

– Я полюбила другого. Прощай.

Смятение неглубокой души

Веню Файна уже третий раз вызывали в Лефортово.

– Мне прислали повестку, и ровно в три я был там. Кстати, я встретил Брайловского, – рассказывал он у лестницы в хоральную синагогу.

– Вас один и тот же следователь допрашивал?

– Меня допрашивал заслуженный следователь Азербайджанской республики. Он спросил: «На каком языке вы будете отвечать?» Я сказал: «По-русски». И тут, понимаете, он мне дал почувствовать свое преимущество. Он несколько раз куда-то звонил и разговаривал по-азербайджански.

– Надо было ответить: «На иврите», – сказали из толпы.

– Пришлось бы искать иврит-азербайджанского переводчика, – улыбнулся Файн. – Не так-то это просто.

– Ну ладно-ладно, какие тебе задавали вопросы?

– Да самые разнообразные: о Щаранском, об алие.

– Дураком прикидывался, – засмеялись в толпе.

– Потом уж я его спрашиваю: когда начнется допрос?

– А мы уже начали, – ответил он.

– Нет, – сказал я. – допрос начнется, когда вы дадите мне бланк, где я предупреждаюсь о даче ложных показаний, по какому делу вызван свидетелем и когда я смогу записывать каждый ваш вопрос и каждый свой ответ.

– Ну, зачем же такой формализм?

– Тогда я больше не скажу ни слова.

– Ну хорошо. Подпишитесь о неразглашении…

– Нет уж, увольте… Никаких подписаний подобного рода я делать не собираюсь. С меня хватит своих секретов. Не хватало вешать на себя еще ваши.

– Если вы будете благоразумны, мы посодействуем вашему отъезду. Но кончить плохо вы тоже можете. Вы сделали слишком много преступлений против Советской власти.

– Назовите конкретно, – потребовал я. – Он замычал, головой мотает из стороны в сторону, несет ахинею про голодовки, пресс-конференции, письма в ООН, симпозиум по еврейской культуре… Мол, вы же культурный человек, доктор наук, вы же изучали марксизм!

В толпе захохотали.

– Вень, а долго допрос длился?

– Восемь часов.

– А где же ты обедал?

– На воле. Я пошел в обычную столовую, а оптом вернулся в

Лефортово. Ну и коридоры там… идешь, идешь…

– А что насчет Щаранского?

– Знаю ли его, какие письма вместе подписывали… Толстая такая папка лежала на столе… какие-то книги и журналы на иностранных языках.

– И снова вызовут?

– Пускай вызывают, – сказал Файн. – Я все равно туда больше не пойду.

– В смысле добровольно, – подсказали из толпы.

– Да, – кивнул Веня. – Вот здесь мое заявление в КГБ.

Это был листок, отпечатанный на машинке: «Я, Вениамин Файн, отказываюсь являться на дальнейшие допросы до тех пор, пока мне не сообщат официально, по какому Делу я прохожу свидетелем».

– Устно я еще тогда заявил следователю об этом. Как раз вошел в кабинет его коллега. «Я знаю, почему вы так заявляете! – закричал он. – Вас подослали узнать, по какому делу обвиняют Щаранского». Я ответил: «Вы же сами меня и подослали к себе». И протянул ему повестку.

– Вень, а что спрашивали у Брайловского?

– Э-э, – Веня махнул рукой, – одна и та же мурня.

– По делу Щаранского, возможно, пройдет через Лефортово вся Горка…

– Из-за одного идиота. – сказал Эссас, – должны пострадать все.

– Это из-за которого? – Чернобельский будто видел Илью впервые.

– Я давно хотел предложить организовать дом для чтения Торы. Я даже подготовил заявление в Комитет по религии.

– Оно при тебе? Я возьму с собой, на досуге прочту.

– Ты в принципе как – за чтение Торы?

– Конечно. Смотри, Цыпин появился. Я его уже месяца два не видел на Горке.

– Вы знакомы?

– Встречались.

– Злейший враг Володьки Вагнера.

– И лучший друг Слепака, – усмехнулся Илья.

Цыпин остановился около Иды Нудель, жестикулирую и посмеиваясь, перешел на другую сторону улицы и, уже ни на кого не обращая внимания, зашагал вверх к Богдана Хмельницкого. Ну, ушел и ушел. И ни один человек на Горке не предполагал, что отказник Леня Цыпин отправился в редакцию «Вечерней Москвы» на пресс-конференцию.

– Прошу вас, Леонид Борисович, – расшаркался главный

редактор Индурский.

За столом перед журналистами сидели два еврея – старый и молодой. Индурский умудрился десять лет возглавлять коллектив газеты. Цыпин – сенсация-однодневка.

– До девятнадцати лет моя жизнь была такой же, как у миллионов сверстников: школа, товарищи, любящие родители. Трудно назвать сейчас день, когда пришло роковое решение. Появились знакомые, выдававшие себя за друзей. Они окружили меня особой заботой и обильно снабжали антисоветской литературой. В девятнадцать легче веришь сказкам, и, начитавшись всего, наслушавшись «голосов», я под влиянием буржуазной пропаганды и моих новых знакомых в 1971 году решил выехать в Израиль. Мне подыс кали там «родного дядю», получил вызов. «Дядя» умолял советские власти разрешить выезд его «племянника» для «воссоединения разрозненной семьи». Родители воспротивились моему отъезду. Работники ОВИРа резонно решили, что отец и мать являются более близкими родственниками. Затаив обиду, я бросил работу. Этого, видимо, только и ждала окружавшая меня кучка людей, которых западная пропаганда называла «борцами за права человека». Я стал послушно выполнять их поручения, в частности Польского и Слепака.

– Какие цели преследовали эти люди? – спросил оказавшийся журналистом майор Лазарь Хейфец.

– Прежде всего, подчеркну, что цели определялись не нами. Наша деятельность направлялась и финансировалась антисоветскими зарубежными организациями, в том числе сионистскими. Нам прямо-таки разрабатывали планы. Мы должны были готовить провокационные «акции», то есть устраивать шумные скандалы… Хотя никто из нас нигде не работал, все мы жили вполне благополучно. «Сохнут» не скупился на денежные переводы, вещевые посылки и дорогостоящие подарки… Зарубежные эмиссары требовали от нас объединения молодежи. Для этой цели мы пытались создать так называемые кружки по изучению древнееврейского языка. Я был преподавателем в одном из таких кружков… Но что можно было поделать, если даже в ответ на вывешенное одним из участников нашей компании Абрамовичем объявление об обучении древнееврейскому языку произошел конфуз. «Ко мне пришел один человек, да и то шизофреник», – жаловался он.

– Вы упомянули о так называемых акциях. Каким образом проводились они? – поднял руку сосед Хейфеца.

– Накануне встретились с несколькими иностранными корреспондентами, согласовали с ними час и план действий,

вручили списки участников… Имея в карманах крупные суммы, полученные на «командировки», из Москвы в разные города страны на поиски «нужных фактов» отправлялись Лунц, Гендин и другие. Готовя на Запад ложную информацию, мы тщательно скрывали поступившие к нам правдивые сведения о жизни выехавших из СССР.

– Вы сказали, что ваша деятельность направлялась некоторыми зарубежными организациями. В чем это выражалось?

– Нам диктовались условия. Стив Броунинг из агентства Эйпи настаивал, например, на проведении «акции» во время обсуждения в конгрессе США пресловутой дискриминационной поправки сенатора Джексона о торговле с СССР. Ко дню голосования этой поправки от нас требовали обширную информацию о «бесправном положении евреев в СССР».

Однажды американский журналист Оснос долго убеждал меня в необходимости войти в контакт с так называемыми инакомыслящими, встретиться с Орловым, Григоренко и их компанией. «Вас мало и их мало. Нужно объединяться!» – говорил он. – У вас, в сущности, единые задачи». Мы прекрасно понимали, что наша деятельность наносит ущерб Советскому Союзу. Поэтому наши связи мы тщательно скрывали. Я звоню инкорру. Узнав меня, он произносил только одну фразу, скажем, «в семь часов». Это означало, что на два часа раньше, то есть в пять, я должен подойти к месту встречи. Мне приходилось встречаться и с приезжающими под видом туристов эмиссарами различных антисоветских организаций. Сейчас мне двадцать пять лет. Последние шесть хотелось бы вычеркнуть из жизни. Я растерял настоящих друзей, мое поведение сильно отразилось на здоровье родителей. Но я прозрел и хочу смотреть людям в глаза, честно трудиться на земле, которая является единственной родиной»

В коридоре редакции Цыпина остановил полковник Зверев. Это он сделал из-за Лени сегодняшнего Цыпина.

– Леня, – он заслонил Цыпина от остальных, – я тебе подыскал работу. Большего ты пока не заслуживаешь. А знаешь почему?

Цыпин оторопело поднял взгляд.

– Грех один за тобой остался, – Зверев заговорщицки подмигнул.

Нет смятения более опустошительного, чем смятение неглубокой души. Цыпин шагал вдоль Чистых прудов, подхлестываемый обжигающим бичом паники. Еще час назад ему принадлежала и Горка и Лубянка, и вот все разом ускользнуло из его рук.

«Грех за тобой остался». Что?..

Вспомнилась Эстер, их хупа, он говорил ей: лешана хабаа бе-Иерушалаим. И вот все загублено. Чистопрудный бульвар хоронил его молча и заживо.

Допросы, вопросы

Повестка на допрос в Лефортово стала визитной карточкой отказника. Получили повестки Гарик Авигдоров и его жена Маринка.

Вдоль пруда прогуливались Гарик и Лева Чернобельский.

– Заморозки в марток. Не спасут и семь порток, – сказал Лева.

– Кого не выпустят, того посадят, – отозвался Гарик.

– Тесть Ильи Эссаса в КГБ работал… Андропов, галахический еврей, приговаривает к расстрелу Толика Щаранского, зная, что он никакой не шпион! – возмущался Лева.

– В Лефортово послезавтра, – ахал Гарик. – Это где Толик сидит. Твою-то мать, вот уж не думал, что когда-нибудь буду на допросе в Лефортово…

В понедельник Гарик Авигдоров сидел в кабинете полковника Зверева и давал показания. Коленки дрожали, пальцы танцевали гопачок по столу.

– Свидетельские показания по делу Анатолия Щаранского, арестованного 15 марта 1977 года.

– Я не знаю такого дела, – вздрогнул Гарик.

– Ему предъявлено обвинение в совершении тяжкого государственного преступления. Вы с ним знакомы?

– Видел на Горке, разговаривал…

– Что вам известно о его связях? – Зверев почесал бровь.

– Ничего…

– Вот письмо к сенаторам Джексону и Джавитсу. Это ваша подпись?

– Это как-то относится к делу Щаранского? – Гарик вытер пот со лба.

– Что относится к делу, а что нет, решаю Я. Ваша подпись?

– Не знаю, – смахнул холодные капли с носа.

– Ну, тогда с вашего разрешения я сниму пиджак. – Зверев разгладил прическу. Теперь и следователь, и Гарик были в одинаковых рубашках сиреневого цвета.

– Как отчество Щаранского? – спросил Зверев.

– Простите, я думал: вы будете вести допрос с протоколом.

– Допрос с протоколом, – улыбнулся тот. – Как зовут жену Щаранского?

– Не знаю. Я ее никогда не видел.

– Вы подписывали письма за свою жену?

– Когда?

– Здесь ваша подпись. Узнаете почерк?

– Знаете ли, почерк меняется.

– А вы жене говорили, что подписывались за нее?

– В общем, да.

– Вот данные о вашей семье. Вы их давали Щаранскому?

– Не-ет.

– Как они попали сюда?

– Мои родители живут в Израиле, они могли дать.

– Значит не давали. А это письмо подписывали?

Это был призыв к ООН о воссоединении семей.

– Да, подписал. Простите, у вас с туалетом сложно?

– Дверь в конце коридора.

Из туалета виден асфальтированный двор для прогулки арестованных.

Его жену Маринку вызвали на допрос часом позже. Воспитатель детского сада. Рост 180, вес 100. Высокая и очень громкая, полная, разбуженный вулкан.

– Авигдорова? Идемте за мной.

Ей достался маленький, косолапый украинец. Он пытался открыть дверь. Не получалось.

– Ну! – нетерпеливо подстегнула Марина. – Час продержали, как дуру, в прихожей, а теперь не в ту дверь ломитесь? Оторвали меня от детей непонятно зачем.

– Ничего-ничего. Бывает.

– А мне знаете сколько ехать? Два часа на электричке и еще черт знает сколько пешком до дачи.

– Бывает.

Он суетился. Не отпиралась дверь. Наваждение!

– А кто за меня будет детям задницы подмывать!? – гремела Маринка на все Лефортово. – У меня их сорок в группе!

Им уступили комнату выбежавшие на крик двое коллег-украинцев.

– Садитесь.

Маринка закурила. От жары крошечная комната мгновенно наполнилась густым дымом.

– Послушайте, вы не курить можете? У меня еще целый день работы.

– Могу, – погасила сигарету. – А вы не валять дурака можете?

– Это почему же дурака?

– А будто не знаете, что я и в глаза Щаранского не видела! И в синагоге раз-два была. А вы меня в тюрьму заманили.

– Я?

– Тут изнасиловать женщину раз плюнуть. А зачем еще привели? Вы меня хоть раз видели со Щаранским?!

– По-омилуйте, я… Подпишите протокол и свободны вы.

– Вот запишите в протоколе, что будешь со мной сегодня стирать детское белье на даче.

– Я с вашего разрешения налью стакан водички.

Ее отпустили в рекордно короткий срок.

В конце рабочего дня Чернобельского вызвали в спецчасть.

– Лева… это Антонина Яковлевна. Зайди, пожалуйста.

Сменил темные очки на светлые, в туалете причесался. В большой комнате спецчасти у окна стоял молодой блондин. Другой, меньшего роста, чернявый и сухой лет тридцати пяти.

– Лева, – сказала Антонина Яковлевна, – с вами хотят поговорить. – И вышла.

– Думали. Мы вас не найдем?.. За гарницей печатаетесь… Роман пишете? – Чекист улыбнулся. – Пересылали роман за границу? Мы ведь с вами можем и в другой обстановке разговаривать. Так, да, это проходило не через мои руки. Вот… В «Евреях в СССР» печатались…против журнала возбуждено уголовное дело. Знали? А все ж дали туда рассказ. «Долгожданное свидание». Читал. Кто рассказал вам эту историю?

– Рассказали…

– Дали бы что-нибудь почитать… С возвратом. Конечно.

– Да ладно вам…

– Я вам обещаю, что обыска у вас не будет. А то чего доброго придете домой и уничтожите свои труды.

Рука Чернобельского плясала по столу. Блондин давно уже с любопытством следил за ней.

– Напишите про алию. Вы же для этого ходите на Горку. У нас вот собран богатый материал…

– Еще чего!

– Вы знаете, что редактором этого вашего журнала «Тарбут» теперь будет Илья Эссас?

– Да? – притворился Лева.

– А то вы не знаете, – улыбнулся чернявый.

– Илью я знаю.

– Престина знаете?

– Ну, видел на Горке.

– А с культурной установкой Престина знакомы?

– Нет.

– Ну как же?! Как же вы хотите писать о Горке? Ну, а последнюю новость слышали: жена Давыдовича просится обратно.

– А что случилось?

– Плохо там. Но почему-то в письмах мало кто об этом пишет,

даже перед родными и друзьями двурушничают.

– У вас что, есть доказательства?

– Сколько угодно. Вся Горка и вы к ней в придачу.

– Я о себе другого мнения. Это, конечно, нескромно…

– Ну-у, вряд ли вам есть, чем похвастать. Вся откровенность ваших товарищей – в заявлении на выезд в Израиль, а в остальном они ведут себя подло. Ида Нудель, например, в дни сессии Верховного Совета на балконе вывесила израильский флаг. Ну, для чего? Чтобы нам праздник испортить? Разве не подло?

– Ну и что, флаг так и висит?

– Сняли, конечно. Но с ее стороны это подлость. Зачем она сделал? Сессия принимает Новую Конституцию, а она флаг вывешивает. Зачем?

– Не знаю.

– Ладно. Я вас еще навещу. Меня зовут Александр Васильевич. И вот что, если будете распространяться о нашей встрече, то можете себе повредить. У вас еще будет время рассказать.

Лева сидел перед Александром Васильевичем.

– Мы получили экземпляр вашей книги.

– Не видел.

– Ну, он пока на размножении… Ваш статус нас не устраивает. И у вас, как говорится, три выхода. Первый: отойти от алии и от всего, что с ней связано. Второй – вы сотрудничаете с нами, и тогда мы разрешаем вам посещать все, что хотите. И наконец, третий – уезжаете в Израиль. День-два подумайте…

– А что думать? Второе меня не устраивает.

– Будьте добры тогда не контачить с лидерами алии и забудьте дорогу на семинары и в «Тарбут»…

Они остановились и посмотрели друг другу в глаза.

– Что ж теперь, в стол писать станете?

– Мне не привыкать.

– Если вы уйдете с Горки, где же темы-то брать будете?

– Но и стукачом я не стану.

– Значит, в разведчики идти не хотите.

– Не хочу.

– Удобная позиция. Моя хата с краю. А вкалывает пусть Александр Васильевич. Да вы знаете, сколько страдает в Израиле советских евреев?! Мы уже другая организация. Вы о нас думаете, будто сегодня 38-й год. А знаете ли вы, что в процентном отношении чекисты пострадали больше всего? На сегодняшний день мы за девять лет алии никого из ваших не осудили. А захоти

– и всех пересажали бы. Ведь верно? Нам что от вас нужно? Пару новеньких фамилий, кто пришел к Эссасу на семинар. Мы их не арестуем. Если бы вы мне, скажем, вчера сообщили фамилию, а сегодня его арестовали, то вы вправе плюнуть мне в лицо, а мы как? Поговорим с этим человеком, и глядишь – отойдет. Потом еще спасибо скажет. Мы почему против семинаров? Потому что девяносто процентов тех, кто их посещает, уезжают в Израиль. Хлебнут лиха – и в слезы. Но поздно. Нам нужна постоянная информация, чтобы мы аргументировано боролись с такими, как Слепак, Престин, Эссас.

– А что Эссас? – удивился Чернобельский.

– Эссас многих совратил. Агитировал и агитирует уезжать.

– Я ни разу не слышал.

– Ну, он же не идиот, чтобы на семинаре во всеуслышанье такое сказать. Это делается тет-а-тет. Его друг Файнгольд все время звонит и спрашивает: «Ну, почему Марк не едет?»…

– Александр Васильевич, я доносить не буду. Ни одного слова о других.

– Да вы нам ничего нового не скажете. Если что умолчите или не так скажете, мы вас поправим.

– Не уговаривайте. Уж лучше я брошу семинару и «Тарбут», чем вести двойную жизнь. Все, что я считаю возможным, я пишу в рассказах.

– Ну-ну. Посмотрим, до чего вы допишетесь.

Котлован

Чернобыль летом – это пшеничная круглая буханка на зеленой скатерти, где солью разбросаны дома. Они ставились, как попало. То есть как было суждено. Город маленьких людей и большой судьбы. Домсоломка в два окна на пригорке, торчит акация, забор-плетенка утопает в придорожной пыли. Пыль – охранительница города – спокойно принимала лишь лошадей и колеса биндюг, да перебежки босоногой детворы. Пыль ненавидела машины. В пыли купались куры, щенята, свиньи, воробьи. Утром пыль лечила холодом, днем – жаром. Пыль была такой же частью Чернобыля, как дождь. Пыль – архив несбывшихся надежд, библиотека времени…

Леве вручили повестку в КГБ. Допрашивал его Соколов – молодой мужчина, похожий на фокусника.

– Представляете, где вы?

– П-представляю.

– Вы сообщили кому-нибудь, что идете к нам?

– Нет…

– Почему у вас такой страх к Котловану?

– Он пожирает дома и могилы, а люди перестают друг друга жалеть.

– Здесь будет самая мощная в мире теплоэлектростанция.

– А где будем мы?

– …В читальном зале на книгах Маркса, Ленина сделаны пометки. Ваш почерк?

– Может быть, мой.

– Расскажите о своих друзьях?

– Люди как люди.

– Так присмотрись, прислушайся и как-нибудь приди. Расскажи мне.

– По еврейскому закону этого делать нельзя. Уж лучше вы меня расстреляйте.

Фокусник из КГБ улыбался, он готов был расхохотаться, еле сдерживался.

– У тебя еще есть время исправиться. И никому не говори о нашей беседе.

Ему позволили уйти на волю – на улицу и дальше, домой. Не он герой дня. Героем был страх.

До этого несчастливого дня Лева каждое воскресенье приходил в редакцию газеты «Чернобыль» на собрания литературного объединения. Тяжелый слог, как шаг в строю

солдатский. Лева писал: «Злодей не знает, где он споткнется, и страшится, а праведник об этом не думает. Парадокс же том, что счастлив тот, кто всегда в страхе».

Жуткий ветер ломал ветки деревьев, на миг поднимая уже оторванные и истрепанные, вновь ронял их на землю, когда Леве приснился дед его. Зуся с Левой арендовали автомобиль «Победа», что бы сгонять к Котловану.

…Лева с дедом зарылись лицом в росистую траву, с наслаждением вдыхая аромат нагретой земли. Пытаясь воскресить блаженное ощущение безмятежного счастья, Зуся встал. Свитер вымок в росе. Господи, Боже мой! Вот она настоящая жизнь, такая простая и спокойная…

Чернобылю тысяча лет… В 1193 году здесь поселился Хаим-Мейер с семьей. В дни Речи Посполитой Чернобыль вошел в Киевское воеводство. Спустя пятьсот лет, как поселился Хаим-Мейер, казаки погромничали. А было в Чернобыле сотня хат и жили семьсот душ. Еще через сто лет в местечке поселился цадик Менахем-Нахум Тверский. Так он себя называл, и так его называли. А это уже немало. Сын его Мордехай основал дом Танаха.

Тысячи евреев посещали двор этот из года в год, почти сто лет, пока в 1920 году правнук цадика Шломо Бен-Цион не бежал из местечка, оставив синагогу, три молитвенных дома, Талмуд-тору, женское еврейское училище, богадельню и шесть тысяч евреев.

Пыль улеглась, птицы угомонились. Погромщики спились, а такие, как атаман Струкел, умылись своей кровью на чужбине. На странице… ладонь вместила историю родины. Горячее местечко. Здесь многое с опасной частотою повторялось.

Печаль была с Левой: в зыбком сне он встретился с отцом. Во сне Семен старомоден, Земля стала ему изголовьем, а любимое занятие – разжечь огни на воде для ловли рыб. Далеко видать те огни на водной равнине, чтобы Чернобыль виден был с небес.

Лева вырос незаметно – длинноногий, узкоплечий, прутик с ушами. Он мог быть ангелом при удаче. Удачная строка, хорошая оценка в школе, любимый взгляд… Его взял военный комиссариат на учет.

Учебные стрельбища раскинулись у самой бровки Котлована. По пятницам еврейских мальчиков учили стрелять по мишеням. После занятий в школе они садились на велосипеды, как всадники на лошадей.

Дорога к Котловану утопала в пыли и в золоте пшеницы. Склонившимся в пыль колосьям велосипедисты предпочли

стрельбу из винтовок образца Отечественной войны. Дорога пела птичьими голосами, звоном пчел, налетела банда мух. Вдруг ветер – какое счастье. Глубокий вдох чистого воздуха. Между полями нежная трава – красота просительная, выжидательная, готова броситься к тебе по первому знаку и с тобой зарыдать.

На стрельбищах их ждали винтовки и мишени.

– Слава Богу, что стрельбище не в синагоге, – сказал Илья Либензон.

Возвращались на велосипедах медленно-медленно… Черные тени липовой рощи от красного заката. Сосало под ложечкой от воздуха, от медового запаха лип.

– Правда, великолепно?! – воскликнул Илья. – Если мне когда-нибудь придется умирать, то я хотел бы в этой роще.

– А я боюсь, что КГБ меня арестует. Я туда не хочу! – сказал Лева.

И самому себе удивился, что вот так запросто шутит над тем, от чего еще недавно в ужасе задыхался. И вот что странно: ни смена времени года, ни допросы в КГБ, ни близость окончания школы – ничто не поколебало страсть Левы писать. В дневные часы он укреплялся в решении уехать из Чернобыля. Учиться на кого угодно, только бы подальше от КГБ.

Во дворе КГБ, где некогда Тубэле с подругами учили лошен-кодеш – святой язык, страхом поросло пространство. В каменном доме так никто и не прижился. Ни центр кооперативной торговли, ни профсоюз работников лесной промышленности. Дом с немытыми окнами и распахнутыми дверьми был обречен. Но КГБ навесил стальные двери, установил решетки в оконных проемах, остеклился дом и окрасился.

В приемной Лева ожидал допроса.

– Войди, – велел Соколов, открыв дверь в приемную и кивая Леве. – У тебя жизнь впереди, хотя и дурное начало. Твоя манера писать рано или поздно загонит тебя за проволоку.

– Но я лишь записываю…

– Вот если для нас, тогда есть шанс остаться на свободе.

– Я пишу для всех…

– Ты или дурак, или не знаешь, что есть мы на самом деле. Мы свою постель ни с кем не делим. То, что пишется для нас, не подлежит огласке.

И когда безответная пауза затянулась до неприличия, Соколов вздохнул с облегчением. Он понял, что этот юный еврей интуитивно нашел единственно верный ход – молчание. Можно выключать кассету, последний протокол на подпись – и прощай.

Отчим привел Леву к Хаиму-Мейеру, одинокому и богобоязному еврею. Комната с высоким потолком, с голыми стенами и окном.

– Ты решил уйти из Чернобыля, – сказал старик.

– Это не грех, но ты не должен забывать, кто мы.

И старик положил на стол перед Левой книгу в твердом переплете. «Священные книги ВЕТХАГО ЗАВЪТА, переведенныя с еврейского текста для употребления евреямъ ПЯТИКНИЖИЕ МОИСЕЯ. Вена. Издание Британского и иностранного библейского общества. 1898». Справа лошен-кодеш, слева русский текст. «… и сотворил Бог человека… и благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь, и размножайтесь. И наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте…»

– Реб вром, я перепишу ее.

И день за днем Лева переписывал страницы Книги, чтобы избрать путь.

Каждый человек прокладывает свой путь служения Богу, согласно своему предназначению: один путь – справедливость, другой – любовь. Бог любит новорожденного, единственного и неповторимого. Бог избрал новорожденного, чтобы освятить именем и однажды спросить его: Где ты? – Вот я, Господи, – отвечает человек. Это и есть любовь.

После занятий в школе Лева на велосипеде уехал к реке искать место для сукки. Илья и Лева договорились ночевать в сукке, как полагается евреям. Лева вызвался найти место.

Деревья издали иные, чем вблизи. У каждого есть имя, слышится высвист иволог. Заблудившийся в воздухе запах хвои. Лева поминутно поворачивался направо и налево. Над травой слуховой галлюцинацией висел призрак дедушкиного голоса, будто он аукается с Левой.

Лева свернул к Котловану, но дорогу перегородил бурелом. Здесь была сырая тьма. Было мало цветов и стебли хвоща похожи на могильную ограду.

– Господи! Ожесточи меня и дай силы уйти из семьи. И пускай они не беспокоятся, а я их не забуду.

Ведь не забыл я отца и деда, и буду молиться, чтобы им нашлось место раю. Грех мой в том, что отца я вспоминаю после деда, а ведь он ушел раньше…

На берегу Припяти Лева сплел из вербы лулав, а яблоко будет этрогом.

– Благословен ты, Господь Бог, давший мне заповедь благословлять этот мир лулавом.

Стояло бабье лето, последние ясные дни жаркой золотой

осени. Дожди не смогли достучаться до самого конца осенних праздников. Добрая примета на десять лет вперед.

Шалаш был готов, когда Земля почти отвернулась от Солнца, вскрыла вены горизонту, заливая его кровью. Лес вокруг Котлована спилили, часть его сжигали на стройке, часть растащили жители. Такое пользование землею беззаконно. Оно против заповеди Господней, это воровство у потомков и потому не извиняемо. Звучали голоса далекие…

Теплая весна 53-го

Заканчивалась еще одна послевоенная зима. По вечерам, прикрутив до упора керосиновую лампу, когда бабушка Тубелэ вязала, а дети притворялись спящими, мужчины вели разговоры «за жизнь». Дети вслушивались в дедовскую правду или в правду, скажем, сапожника Шаи. Говорили про атомную бомбу, про пожар в мануфактурном магазине, про то, кто умер, кто родился. Говорили про немецкие концлагеря, говорили о еврейской стране – об Израиле.

– Интересно, что там за евреи?

– Молодые.

– А язык у них идиш?

– Иврит.

– Ты его знаешь?

– Ба бокэр, ба эрев.

– А в Биробиджане? – хихикнул Шая.

– А в Биробиджане – тайга.

Утром молодая вдова Вера чистила зубы над умывальником, полоскала рот, запрокидывая голову.

– Леве нужен костюм, – сказала она. – Завтра я возьму его в лагерь.

Чернобыль имел свой лагерь заключенных. Болото, потом вышки, колючая проволока в два ряда. Город в городе со своим театром, кладбищем.

Вера работала в медсанчасти лагеря. Но в этот день охрана не хотела ее с маленьким Левой впускать. Им разрешили войти в лагерь с таким же трудом, с каким выпускают на волю.

– Какой ты большой, – сказал Леве зэк-портняжка Гриша Брод.

Его пальцы гуляли по мальчику, пальцы, видать, соскучились по воле, а Лева был вольный.

– Ах, Вера! Фарвус дер Гот хот гемахт Пэсах ин Мицраим унд ферлост мир мит гоим? Фарвус?… Мы тебя, сынок, оденем, как царя. Белый френч с медными пуговицами.

…Еще снег не успел растаять, объявили: «Раскрыт заговор врачей-убийц». Понятно, евреев. Мало кто в Чернобыле читал газеты, но весть о «заговоре» распространила молниеносно, и Верочке предложили убираться с работы.

– Ой, мама! – рыдала она.

– Ой, Готыню! – ахала Тубелэ.

– Всех евреев будут проверять, – бормотала Верочка.

– Ой, Готыню! – сокрушалась Тубелэ.

– Ой, Боже мой! За что я такая несчастная?! Такая была работа хорошая. О-о! Что я им сделала?! Какое я имею отношение к тем врачам-предателям?

– Дура, – говорил дочери старый Зуся. – Они, наверное, такие же предатели, как я начальник твоего лагеря.

– Евреев нигде не любят, – бормотала Тубелэ.

– Не надо меня любить! Дайте работать спокойно. Теперь нас вышлют из Чернобыля.

– Ага, в еврейскую область, в Сибирь, – вдруг засмеялась Тубелэ.

– Ой! Ты, мама, ненормальная, что ты смеешься?!

– Лишь бы мы, Вера, вместе были.

– Я ж в финской войне участвовала! А они!

Обидно! На работе она каждый день ощущала свое превосходство над заключенными. Она была вольной душой, человеком сильным и властным. И вдруг ее лишили этого.

– Где я найду работу? – плакала Вера.

И творились в мире разные вещи: мыслимые и немыслимые. Поэтому Тубелэ всегда запасалась солью…

Март шел на смену февралю, а с ним пришел и праздник Пурим. Солнце улыбчиво: и день удлинился, вот-вот и вовсе обгонит ночью. На пригреве замелькали разноцветные бабочки: для них, легкокрылых, вся зима – одна ночь. Конец зиме. Конец! И засияют зеленым стволы осин, а кора зардеется под солнцем.

Тубелэ утром развела дрожжи в теплой воде, смешала с молоком, сахаром, солью и мукой, добавила яйцо, масло, цедру и замесила тесто, раскатала его, Софка вырезала стаканом кружки, а Вера в каждый кружок теста заворачивала сладкий и влажный мак, лепила «уши Амана» и клала их на смазанный маслом горячий противень.

– Пурим! Пурим! – Софка кружилась волчком вокруг Левы. Он ей подзатыльник – бац! Она в слезы и его – бац!

В кухне беготня и галдеж. Софка беспричинно хохотала, а Леву тянуло ввысь. Прыгнул через забор. Софка за ним. Платье на кольях – сама в пыли.

– Лева! Софа!

Приглашать на Пурим гостей вошло у Зуси в привычку, и он, преодолевая недомогание, выглядел счастливым.

– Агит йонтеф!

– Агит йюр!

– Сюда, тетя Рива! Сюда садитесь! – Вера нарядная, голосистая.

– У-у-у, как пахнет жаркое!

– Это не жаркое, это фиш.

– Ой, Боже мой, Туба, где вы брали селедку?

– Рива! Клади себе салат, а не то я обижусь.

– Вера! Неси гументаш!

– Лева! Убери руки!

– Лева! – позвал дядя Янкель. – хочешь вино? Э-э, вижу по твоим глазам, шельмец!

– Ша! – муж Ривы Фима поднял палец, – я недавно в Москве видел салат с крабами.

– Кого видел?

– Это такая рыба.

Муж Ривы преподавал английский в техникуме. Но «межпуху» языками не удивишь. А вот когда он сказал, что видел в Москве салат с крабами, все повернули к нему головы. Все, только не извозчик Изя. Он сидел за столом так, как сидел обычно за своей лошадью в телеге.

– Я бы эту гадость за три копейки в рот не взял, – сказал он. – Вашего отца, Фима, зовут Хаим?

– Хаим.

– А маму Хая?

– Хая.

– Она торгует молоком?

– Молоком.

– У вас прекрасные родители, дай Бог им здоровье. И они никогда не ели салат из этой гадости. Никогда!

Вынесли в сад патефон, и муж Ривы достал купленную в Москве пластинку Зиновия Шульмана «Майн эйникл гейст шолэм»! Опустилась игла на диск и будто пришли в сад одиннадцать музыкантов и одна мелодия…

Тетя Боба всплакнула о брате, пропавшем в Гулаге, покраснели глаза у Тубелэ и Блюмы. А кто-то уже выбивал ладонью мелодию. Сильней! Сильней! И все мужчины, как один, ударили по столу. И древняя песня «Сим шалом това увраха» вошла в дом. И стены будто развалились от песни, и ночное небо повернулось к далекому солнцу. А песня нарастала и нарастала. И сердце учащенно билось, точно не за столом ты, а в бегу.

Веселый и страшный весенний праздник Пурим убил Сталина. Жребий пал на Амана. Еще не ведая о смерти вождя, невинная толпа валила на фильм «Мечта сбылась» в кинотеатр «Смычка», где сироп заливали газировкой, где Янкель играл на трубе и мог за это поплатиться. Но не поплатился. Поезд лишь тормозил на платформе, а в Чернобыле уже знали, кто и зачем приехал. Все знали о каждом, но никто не знал о судьбе всех.

Веру уволили с должности замначальника медсанчасти лагеря заключенных, потому что распустили лагерь, вырыли столбы, оборвали колючую проволоку, сожгли сторожевые вышки. Собаки сами разбежались.

Одинокий польский еврей Гриша Брод (вся семья его погибла в Варшаве) остался в Чернобыле. И женили Гришу на молодой вдове Вере. Свадьба собрала евреев Чернобыля и амнистированных корешей Гриши. Извозчик Изя, как дрессированная лошадь, топал ногами. Сверкали золотые фиксы, как три солнца. Изя прищелкивал пальцами, пританцовывал и горлопанил: «Наливай вина, была – не была!»

На ложках стучал сапожник Шая: об коленку, об ладошку, о стол, о каблук, плечо, горшок! Талант! Оркестр! И вся компания кружилась, обняв друг друга за плечи.

Рувка-золотце, распустив жилет сощуренным глазом оглядывал танцующих. Амнистированные кореша пили самогонку и смущались присутствием посторонних. Невеста сидела между двоюродными сестрами. Толстые стекла ее очков отражали лучи солнца, пряча глаза, и счастью ее верили по накрашенным раскрытым губам.

Жених пускал кольца вонючего дыма в сморщенные лица стариков и неторопливо рассказывал: «Жидок, сказали мэни, сошьешь за нич ватни брюки – будэш у нас портным, а сбрэшэшь – грызы сопку. Ото как. Тут мои нары, а тут – старого еврея. Губастый в очках. Вин робыв революцию. И от одного разу случились в бараке резня: честняги ризалысь с суками. Мы сховались пид нары и усю нич слухалы, як воны друг друга ризалы. Гирше, – сказал у ту ночь очкарик, – не надо бояться быть зарезанным, надо бояться своих надежд».

– Эгей, жених! А ну плясать! – возвратили его на свадьбу.

– Ломир Але инейнем! Лехаим!

Левка попросил: «Деда, давай прокатимся на великах».

– По дороге к Котловану, – неожиданно согласился Зуся.

Если и был котлован под теплоэлектростанцию, то далеко. Но те, кто проложил дорогу, назвали ее «дорога к Котловану». Широкий лентой тянулась она через степь. Здесь перемежались озимые и горькая полынь. Давние пришельцы из Святой земли потому и назвали это место Чернобыль – черным и горьким виделось им будущее детей их. Но земля хотела примирить людей, и у каждого было свое место и своя могила. Но на могилах можно поплакать. А можно радоваться за души бессмертные. Цадики, идиш и смак Украины сделали свое дело: красота и счастье поселились здесь.

Дед и внук ехали на велосипедах рядом.

– Смерть приходит откуда?

– Она всегда рядом… Жизнь и смерть одно и то же.

– Из космоса смерть приходит, – сказал мальчик. – Ты знаешь космическое число?

– Какое космическое число? – Зуся взглянул на Леву.

– Ноль, – сказал Лева.

– Жизнь была до тебя, представляешь?

– Нет, – сказал Лева.

– Я буду молиться за душу твою бессмертную, – улыбнулся Зуся.

Они прогуливались на велосипедах вдоль перелеска. Моросил дождь, радуга то появлялась на небе, то исчезала.

– Живи столько, сколь я буду жить, – сказал мальчик старику.

Купались собаки в мокрой траве.

– Почему мы другие?

– Мы всегда в меньшенстве и мы хотим выжить, поэтому все время взываем людей к справедливости. Урожай озимых похож на рождение теленка у коровы. Землю надо благословлять, а не рыть котлован.

Они одновременно рассмеялись.

– Деда, догоняй меня.

Лева привстал и рванул вперед.

Жизнь прекрасна.

Папа приехал

Яков Аптекарь. Шестьдесят пять. Новосибирск-Москва. На день рождения к сыну. Как долго доведется им быть вместе? То-то и оно.

Вот и вокзал. С чемоданом и авоськой гостинцев он ступил на перрон и сразу попал в объятья Ильи и его жены Маши.

– Папа приехал!

Илья обнял Якова и по-детски потерся щекой о щеку.

– Я всегда себя чувствую ребенком в такие минуты.

– Сы-ыночек! Маша! Ну как вы, отказники мои дорогие?

– Илья вкалывает днем и ночью. – засмеялась Маша. Он у нас теперь начальник котельной.

– Все тайны выдаст, – Илья потер нос. – Я еще читаю лекции в трех университетах: Тель-Авив, Лондон, Париж.

– У тебя свой самолет?

– По телефону. – Илья взял у отца чемодан и авоську.

– Слушайте, почему запрещено мотаться по миру? – старик Аптекарь по-птичьи развел руками. – Мы ведь воевали за будущее детей. Все насмарку. А что, может быть, за поворотом новая хорошая жизнь?

– Где поворот, папа?

– Но ты, программист с государственной премией.

– Я вкалывал!

– А даром никому не дают.

– Папа! Только не надо. Я из Чернобыля не вылезал пока не пустили Первый реактор.

– Илья, не вспоминай этот кошмар. Мужчины, – сказала Маша, – посмотрите, в Москву уже пришла весна!

До тех пор пока отказник Илья Аптекарь устраивал на своей квартире семинары по Математике, атмосфера преследований над ними не сгущалась. Но стоило открыть двери для симпозиума «Евреи в СССР», истоптали топтуны и двор и подъезд Аптекаря.

Утром 8-го мая в дверной проем шагнул маленький человек в похоронном костюме. Телеграмма ко дню рождения – первое о чем подумал Илья.

– Вам повестка в КГБ на допрос. Собирайтесь.

Аптекарь мгновенно вспомнил статью в «Известиях» о «предателях и шпионах»: Лернер, Щаранский.

– Такая срочность?

– Как говорится, куй железо, пока горячо.

– У меня сегодня день рождения, между прочим.

– Я вас поздравляю. Собирайтесь.

Майское солнце рассыпалось ромашками в траве. Напрасно. И березы зеленели напрасно, напрасно красные флаги болтались на ветру. В глазах у Аптекаря было черно.

КГБ знало о нем все: он не очень хорошо знаком со Щаранским. Толя намного моложе Ильи, а главное, Аптекарь не входил в Хельсинскую группу. Они уважали и симпатизировали друг другу, но пути их пересекались очень редко.

В Лефортово в тускло освещенном коридоре десятки ожидантов маялись одиноко и безучастно, как рыбы в аквариуме. Ужасно хотелось пить. Наконец, дежурный офицер проводил Илью в холл и остановился перед стальной дверью.

Он набрал код, дверь открылась. Они вошли и дверь беззвучно захлопнулась у них за спиной. Шли по коридору, с обеих сторон больничного цвета двери с вмонтированными красными зажженными лампочками. Ведутся допросы.

Илью отвели в один из дальних кабинетов: голое окно, стол с телефоном и с молодым лейтенантом, протирающим очки; сейф в углу.

– Присаживайтесь, Илья Яковлевич.

– И на том спасибо.

– Так у вас сегодня день рождения! – заглядывая в паспорт Ильи, улыбнулся следователь.

– Какая разница, – Илья хрустнул шеей. – Вы же вызвали меня не для поздравлений.

– Как знать, Илья Яковлевич. Вы знаете Анатолия Щаранского?

– Да.

– Как давно вы знакомы?

– Не знаю.

– Не помните Овражки, где Александр Лернер вас с ним познакомил?

– Какое это имеет значение?

– Вы присутствовали обсуждали поправку Джексона против СССР?

– Не помню.

– Вы подписывали какие-нибудь просьбы в Американский Конгресс?

– Не помню.

– Ну то, что у вас сегодня день рождения, вы помните?

– Спасибо, что напомнили.

– Ну, полно вам старика из себя корчить. Сорок лет для программиста – лучшие годы, а, может быть, помните чья идея анкетировать отказников с указанием должности и места работы?

– Не знаю.

– Или не помните?

– Не знаю.

– Идея Щаранского?

– Не знаю.

– Вам говорить: не помню – стыдно. Уж лучше так. Разведывательные анкеты передали на Запад. Это классифицируется как шпионаж.

Мучения длились до полудня. Лейтенант не мог заставить Аптекаря сказать что-либо конкретное про Щаранского. Этот очкарик, казалось, не очень то и старался. Он повторял вопросы спокойным тоном, как будто устал от всего этого бессмысленного разговора так же как и Аптекарь. И вдруг резко открыл ящик стола и отпечатанный лист бумаги протянул Илье.

– Ладно, не могли бы вы подписать это?

«Я, Илья Яковлевич Аптекарь, хочу проинформировать отдел допроса КГБ о следующих фактах: я знаю Анатолия Щаранского долгое время, хотя не могу сказать точно, сколько. Наше знакомство стало результатом подачи нами обоими заявлений на выдачу выездных виз, и наших совместных прошений в западные организации, в частности в Конгресс Соединенных Штатов. Я присутствовал на встрече с американскими сенаторами в гостинице Метрополь, где Щаранский выступал как переводчик….»

– Нет. Я не буду это подписывать.

– Почему нет? – лейтенант улыбнулся и снял очки.

– Я не хочу информировать вас ни о чем.

– О, ну если вы считаете, что там есть ошибки, вот ручка. Можете просто их исправить.

– Ошибки тут не в деталях, а во всем тексте. Я не говорил, что присоединялся к какой-либо деятельности со Щаранским. Вообще я не делал тех заявлений, которые здесь написаны.

– Так, Илья Яковлевич! Я боюсь, что вы не понимаете ситуацию. Мы знаем, что Вы виновны по тем же пунктам, что и Щаранский, в конце концов вы покрываете его. Вы бы лучше постарались с нами сотрудничать. Вот подпишите этот протокол. Вам разрешается поменять все, что хотите. Если вы желаете, вы может написать от руки за своей подписью: «Я отказываюсь от своих показаний».

– А так просто не отпустите?

– А так просто я отпускаю вас на обед, а паспорт ваш останется у нас.

– На обед куда?

– Куда-нибудь, – улыбнулся очкарик.

На другой стороне Лефортово Илья зашел в столовую. Пахло

борщом и вареными сардельками. Та еще симфония. Взял макароны по-флотски, а мухи сами прилетели. Столько мух он никогда не видел. От мух отмахивался и Лазарь Хейфец с сардельками. Он не спускал глаз с Ильи. Илья его заметил, но делать нечего, подошел к телефону-автомату и позвонил контактному лицу на такие случаи.

– Сообщите Маше, что я задерживаюсь на допросе…

Когда он вернулся в Лефортово, следователь уже знал о его звонке.

– Вы знаете, что вам запрещено разглашать любые сведения о допросе без письменного разрешения следователя. Процедура расследования должна держаться в тайне до момента суда. Это просто предупреждение для того, чтобы вы не нарушали закон, хотя мы оба хорошо знаем, что вы никогда не были нарушителем.

Прошел час-другой, в комнату вошел полковник.

– Мы не играем здесь в игры, – сказал он. – Чем быстрее вы подпишете, тем лучше для Вас.

В восемь вечера Аптекарю вручили повестку на 10 мая.

Дорога домой из Лефортово на улицу Винокурова казалась бесконечной. Москвичи уже во всю праздновали День Победы.

Маша и папа одиноко сидели за праздничным столом.

– Они хотели испортить тебе день рождения, – сказала Маша.

– Они не в силах сделать то, что делает время. – Илья попытался взять мажорную ноту. – Мне стукнуло сорок!

– Ты попал в передрягу, – сказал Яков.

– Это просто обычное интервью. Даже не стоит того чтобы его обсуждать. Как хорошо, что ты здесь!

– Вопрос закрыт?

– Завтра опять в Лефортово. Но ты не волнуйся.

На протяжении всех лет отказа Илья пытался скрыть от отца передряги алии. Через что ему приходилось проходить. Яков знал, что жизнь сына не была легкой, это был первый раз когда он действительно увидел ситуацию такой, какая она была.

– Когда ты подал заявление, моя единственная надежда была на то, что ты не уедешь слишком скоро, – сказал папа. – Я знал, как сильно буду по тебе скучать и ненавидел мысль о том, что увижу твой отъезд. Теперь у меня только одно желание: я хочу, чтобы ты уехал! Ради Бога – когда ты выпутаешься из всего этого? Ну, ладно, день рождения есть день рождения. Ле хаим!

– Очень оптимистический тост, папа. – улыбнулся впервые за день Илья.

Спустя час Маша и Илья уже мчались в такси к Даниилу Кац.

Когда они приехали к Кацам, они сразу увидели, что Даня

истощен. Его держали в Лефортово почти до одиннадцати – и ни как свидетеля, а как подозреваемого. Допрос был на 6 часов дольше рабочего дня.

– Давайте выйдем, – сказал Даниил.

Его квартира, как и Аптекаря, прослушивалась. На улице Даниил рассказал им о тех мучительных 14 часах, которые он пережил. Следователь был украинцем, жестоким человеком, без церемоний и убеждений.

– Вас посадят по тому же делу, что и Щаранского, – сказал он Даниилу, стуча кулаком по столу, – И позвольте я вам кое-что скажу: вы думаете, что получите 2–3 года в лагере, а затем вас отпустят и вы уедете в Израиль? Не обманывайте себя. Такие люди как вы, не продерживаются больше года в лагере.

Он нападал на Даниила весь день и полночи. Не было ни дневного перерыва, ни момента свободы.

– Возможно, они пытаются терроризировать тебя, – сказал Илья, – они скоро отстанут.

Но сам не верил в то, что говорил. То, как обращались с Даней сильно отличалось от того, что получил Илья и наказание, которым ему угрожали было намного опасней, чем письма в Израиль, в подписании которых подозревался Илья. Письмо президенту Картеру было послано ему на инаугурацию, призывало его сделать свободной эмиграцию из СССР, обуславливало торговое благоприятствование с Советским Союзом. Письмо подписано отказниками и Даниил сочинил его.

Даниил, который чувствовал себя на допросе скверно, повторяя только «Я не помню». В конце концов, объявил, что отказывается давать показания. Следователь был напуган. Впервые он как-то среагировал на слова Каца.

– Вас могут посадить в тюрьму за отказ в даче свидетельских показаний.

– Я знаю. Но все равно отказываюсь.

– Подумайте об этом. Полагаю, что к завтра вы передумаете.

Он вручил Даниилу повестку на 9 утра следующего дня.

– Вот сволочи, – сказал Илья, – и себе испортили День победы и нам с тобой. Ну ладно, твой хохол-западенец, для него девятое мая не праздник, но мой-то мог бы подумать, что его отец с моим могли сражаться в одном окопе.

На следующее утро Илья вернулся в кабинет следователя.

Ожидание в два часа. Сегодня люди в коридоре похожи были на пчел. Жужжание. Жуть. Очень встревоженный улей.

У Ильи всегда способ избежать такое давление толпы. Сплести кокон одиночества в самой гуще толпы – легко: его

нерешенные математические задачки, которые его поглощали, всегда с ним и он мог закрыться от окружающего его мира.

Но не на этот раз. Сбежать привычным маршрутом не получалось.

Следователь признал право Ильи каждый вопрос записать собственноручно и так же отвечать. Но вопросы приняли другой оборот. Теперь они касались только документов, которые могли подписать Щаранский и Аптекарь.

Лейтенант протянул письмо – поздравление народу Израиля с Рош-а-Шана.

– Конечно, здесь нет ничего компрометирующего или криминального, – настаивал следователь, – Я не вижу какой протест вы могли выражать тем, что вы были среди тех, кто посылал новогодние поздравления в Израиль. Что же тут такого важного? Знаете, я просто пытаюсь поправить ваше положение. Вы же осознаете, что получение вами визы на выезд зависит от нас. Я хочу, чтобы вы хотя бы сделали жест сотрудничества.

– Я не помню, чтобы я подписывал что-либо из того, что есть у вас. Кроме того, меня позвали сюда в качестве свидетеля – против меня не выдвинуто никаких обвинений, поэтому я не обязан отвечать на вопросы касающиеся меня. Что же до Щаранского, я не имею понятия. Я не знаю, что он подписывал, а что нет.

Допрос – это способ поддержки обвинения. Подтвердить даже самые невинные действия, значит снабдить прокурора оружием против обвиняемого или против тебя. С той минуты. Как ты пересечешь грань между свидетелем и лицом под следствием, – рассуждал Илья. – Роль следователя в том, чтобы заставить свидетеля пересечь эту границу любыми способами. Я должен был попытаться сопротивляться этому.

– Илья Яковлевич, – лейтенант снял очки и опустил голову, – вы значительно ухудшили свое положение такими показаниями.

И вдруг, Илья отключился от бледного очкарика. Вот он в новой школьной форме, а к нему наклоняется папа, пахнущий духами, а над ними высокое небо и играет оркестр.

Папа приехал, товарищ следователь. Такое бывает не каждый день.

Сходим – посмотрим синагогу, потом в гастроном на Горького – бутылку «Столичной», горячий хлеб и закусон, и отметим еще один раз его, Ильи, рождения. Если евреи отмечают каждую неделю субботу, то может он отпраздновать свой день рождения еще раз с папой, елки – моталки.

Он вздохнул аж до кишок и засмеялся просветленному небу.

С папой каждый день – рождение.

Ханука

Когда жизнелюбивый мальчик растет среди недоделанных родителей, кто прикрутит к валенкам коньки? То-то и оно. Вытаскиваешь шнурки из дедовых ботинок, и пока он спит – суббота! – стальные лезвия на валенках, варежки, душегрейка – а что еще надо, чтобы прокатиться по первому льду?!

Лед в снежном пуху, а солнце в тумане. Толчок, рывок, коньки – в одну сторону, сам – в другую. Эх, шнурочки, старые шнурочки лопнули.

А для деда, кто собрался идти молиться в дом чернобыльского шойхета Янкеля, шнурочки незаменимы. Где они? Как идти без шнурков в этих спадающих ботинках? Ну, не будем о грустном.

Волнение готовило старика Зусю к хануке. Тубэлэ надела белую косынку, Лева и Софка дергали ее за юбку, но она умудрилась зажечь керосиновую ханукию.

В этом году ханукка почти совпала с рождеством. Не совпала, слава Богу, а – почти. Чернобыльцы календарем не пользовались и правильно делали Раз снег выпал, мороз нагрянул, значит, хлопцам пора калядовать, а еврейским детям просить ханука – гелт. У христиан светились огоньками елочки, а у евреев зажглись ханукальные свечи.

Зуся, закрыв глаза и листая бороду, молвил благословения.

– Арье, – иногда он так называл внука, – махт натилас ядаим.

Говоря попросту – надо мыть руки.

До краев наполнил кружку водой. Три раза слил на одну руку, три раза – на другую. Не заговорит, пока не отломит ломтик хлеба, обмакнув в солонку.

Нужно есть не спеша, как бы ни был голоден. Воздержание и умеренность означают святость.

Семен в черном костюме, белой рубашке с желтым галстуком сидел между детьми. Всегда первым запевал «Шалом алейхем».

Шалом алейхем
Мальахет гашарет
Мальахей эльйон
Мимелех малхей гамлахим
Гакадош Барух Гу.

Тубэлэ тихо перевела Леве: «Мир вам, ангелы Всевышнего…» В разных семьях «Шалом алейхем» пели по-разному: где каждый

куплет по три раза, стоя и взявшись за руки, или сидя, обнявшись за плечи, а где – в ритме джазменов. Сытый и старый еврей поет медленно нараспев, а молодой и голодный джазмен ногам покоя не дает.

Семен увязался помогать теще. Не мужское это дело, но Тубэлэ подбадривала Семена.

В конце концов, зачем в праздник спорить, кому носить тарелки с бульоном?

Посреди трапезы пришли старший брат Зуси Янкель с женой Блюмой.

Янкель играл на трубе в кинотеатре «Смычка» – смычка города с деревней.

– Зуся, я хочу помолиться в твоей комнате.

– Мы тебе на «маарив» даем пять минут, – подмигнула Тубеле – Бульон стынет, а разогревать уже никто не будет.

– Пока Янкель молится, Семен расскажет детям о Ханукке. – сказал Зуся.

– ТАНАХ молчит о Ханукке. По-гречески «Энкайния» – обновление, а по-еврейски «Ханукка» – освящение. – Семен, видать, не врубился в просьбу Зуси и затараторил как пономарь – Письменных свидетельств той эпохи о Ханукке не сохранилось. У Иосифа Флавия слово «Ханукка» не упоминается, а праздник называется «Светочи», потому что спасение пришло мгновенно, как свет от зажженного огня.

Дети забились в угол у теплой печки и крутили на половице крошечный деревянный дрейдл-волчок – четыре грани разрисованы еврейскими буквами: гимел, далет, гей, тет. На «тет» ты все проигрывал, все твои денежки летят в тухес. Такие дела. Мальчишки умели так раскрутить дрейдл, что он долго-долго вальсировал между горками медяков – ханукп – гелт.

Видать, взрослые про них забыли. И это было лучшее, что они могли сделать.

Захмелевший крошечный сапожник Шая клевал-клевал носом и бабах лбом о стол.

Да и то, столько самогонки выпито! Старый еврей как выпьет, так об Талмуд ударяется.

– В Талмуде сказано: Хасмонеи вошли в Иерусалим и восстановили порядок храмовой службы. Так? – обратился Зуся к зятю.

– Фундаменталисты победили либералов – ляпнул Семен.

– Это как?

– Бородатые безбородых.

Семен – безбородый инженер-технолог вагоноремонтного

завода им. газеты «Правда».

А Зуся – бородатый хасид – торговал на базаре мылом, гвоздями, пряниками.

Семен ходил в ботинках прикрученных проволокой, а Зуся всю семью содержал, на «черный день» еще откладывал.

– Чья, говоришь, победа?

– Фундаменталистов.

Зуся только крякнул – так мол либералам и надо.

– И установили жестокую власть. Разобрались с либералами, потом с фарисеями, – Семен похоже задумал испортить праздник – …взяли Хеврон и сожгли…взяли Ашдод и разграбили…

– Ну, Иосиф Флавий – не Талмуд, – буркнул Зуся. – Янкель, разливай самогонку. Шая, проснись!

Но Семен уже закусил удела.

– Иоанн Гиркан огнем и мечом прошел по Идумее и обратил их в иудейскую веру.

– Кто ж такое читает в йом-тов? – возмутился Янкель, но налил Семену по самую каемку стакана. – У тебя есть книги Маккавеев?

– А вот Талмуд запретил книги Маккавеев.

– А шо такое? – ахнул Шая.

Похожему на прищепку Шае пол – стакана самогонки и – готов. Нет в нем мяса, сала и костей чуть-чуть.

– А то, кто их написал эти книги Маккавеев? – Янкель стукнул стаканом по столу. – Я их в глаза не видел.

– Во как, – сказал Зуся. – На греческом. Это не еврейские книги.

– А чьи же они? – Шая явно еще не проснулся. – Немецкие?

– Та какие немецкие! Их еще и в помине не было, – загремел Зуся. – Греческие они.

– Не понял, – вот теперь Шая окончательно проснулся. – Праздник еврейский, а книги греческие. Все раввины делятся на жуликов и воров.

– Шае больше не наливать.

Трезвый Шая может «достать» не только толстую, как облако, жену Бобу, но и кого угодно.

– По книге Маккавеев, – сказал Семен, – если и было чудо, так это победа в войне. А про «чудо светильника» – ни слова. Не было такого чуда.

– Ну ты, Сема, брось! – расхрабрился Шая. – Давай выпьем!

Но Семен вошел в раж.

– «Чудо светильника» появилось через 600 лет в Талмуде.

– Зачем?

– А назло христианам. Они свечи на елку, а мы – на

подоконник.

– Постой – постой, – сказал Зуся – а что Флавий про чудо светильника?

– Флавий никакого «чуда светильника» не вспоминает. Ирод Великий угробил последних Хасмонеев. Заново отстроил Храм в Иерусалиме.

– Ты меня извини, Сема, ну и гад же ты. – сказала Вера, влюбленная в него по уши.

А кто его не любил? То-то и оно. Но чем-то он сейчас был похож на царя Ирода.

Наступило тягостное молчание. Потрескивали горящие дрова в печи.

Огонек керосинки раскачивался на заснеженном подоконнике, словно молящийся в талите.

– Мудрецы Талмуда помнили обиды и преследования Хасмонеев, – сказал Зуся. – Ну, оставим это, ладно. За еврейских мучеников, наливай, Янкель.

– Так мы за восемь дней сопьемся.

– Наливай, Янкель, зол зей бренен. Ну, надо жить.

И он поднял стакан.

– Лехаим, идн. А-гит ентеф, а гит а – балаюр.

Родня

Что до Янкеля и Хайм-Мейера, то не женились. Маленький Янкель страдал «черной болезнью», а хупу сыграл с рыжеволосой и длинноногой Блюмкой. Хайм-Мейеру досталась Тубэлэ. Но это ночью они играли мужей, днем каждый стоял на своем углу – раздавал за рубли мыло, пряники и гвозди. То были кануны, когда набирали строителей первой пятилетки, и братьев, как сиамских близнецов, посадили в один лагерь поселка Камянское. Поселку дали имя Днепродзержинск, Янкелю дали три года, Хаём-Мейеру тоже. Блюмка и Тубэлэ выписались из Шполы и сняли в днепродзержинском овраге комнату с видом на лагерные вышки. Они беременели надеждами свиданий.

В лагере Янкель играл на трубе. Он делал соло – овчарки падали в шоке. Хайм-Мейер ошпарил себе ноги, чтобы не таскать бетон носилками, шептал молитвы.

В год неурожая первой пятилетки лагерь распустили. Гуси-гуси! Га-га-га!

И хотя ни Янкель, ни его брат ни разу в жизни так и не выговорили: Днепродзержинск, они остались здесь. Хайм-Мейер снова жонглировал пряниками и мылом, Янкель импровизировал на трубе перед началом вечерних сеансов в кинотеатре «Смычка». И пока Янкель пускал слюни в трубу, брат его держал Блюмку за талию и тоже чувствовал себя солистом. А Блюмка почувствовала себя беременной. Родилась Полинка – красные волосы, разлет бровей Хайм-Мейера. Так или нет… Подозреньем были заражены все – деревья, коты, ветер и люди. Полинка росла и тогда, когда люди гибли в войне с немцами, и тогда, когда от рака желудка умер Хайм-Мейер, а потом в таких же муках скончалась Блюмка. Святой Янкель и Тубэлэ пережили их на четверть века. Но главное – вошли легко в смерть, каждый умер во сне. А до этого им даже довелось гулять на Полиной свадьбе. Судьба подарила ей Сеню – черноглазого губошлепа с варшавской улыбкой. Он родился в Варшаве, бежал в дни оккупации на Восток, а ему было семнадцать. Мотался вагонной Россией – украсть, урвать, покушать. В сорок первом его схватили в Астрахани, как шпиона. Схватили в Астрахани, сослали в Архангельск. И забыл Сеня пыль Варшавы, словно родился и вырос посреди тундры. Кому жид, кому поляк и волк среди волков. Зубы отточил не хуже топора, а топор для плотника, что ноги для танцора.

Десять зим растаяло, девять весен проплыло по земле, окруженной собаками и солдатами. Весна 55-го реабилитировала проволочную зиму, а заодно и Сеню. Вышел на волю, а страх

пространства остался. И когда бывшие поляки потянулись через Варшаву во весь мир, то есть в Израиль, он полетел сначала на Днепрострой, перекинулся на Каховскую ГЭС, а уж оттуда – к Поле. Чуть не засиделась в девках медсестра Поля, но вот влипла в Сеню, как муха в мед. Янкель убрался на кухню к коту, и с ним старался не попадаться под ноги молодоженам. Чаще и чаще одолевала старая болезнь Янкеля, и однажды утром нашли его задохнувшимся в подушке. Позеленевшая труба и три золотых царских монеты – все, что они заметили после его смерти. Ну, еще мелодия «О, Суббота» витала в его доме, но о субботе не вспоминали. Вставить бы золотые фиксы, да, как на грех, зубы целы. И южными немыми вечерами не знал Сеня, куда деть себя и эти монетки. Он был деятельный, Сеня-поляк – сарай построил во дворе, кроликов развел, кота утопил.

Девочку сделал Поле: Белочку. Между тем, их соседи сделали мальчика Ваню. И тут Сене вроде хвастаться нечем. Тем более что сосед, сын Хайм-Мейера, Аркадий – инженер, а жена Вера – стоматолог. Но Аркадий чертил болты и гайки на сто рублей, а Сеня в гробу видел эти болты и гайки.

– Самая хорошая профессия: воровать, – говорил Сеня. – Но за это сажают, поэтому я плотник.

Днем он плотничал, а вечерами приходил к соседям и садился с Верой за стол, как за шахматную доску.

– Я научусь делать золотые зубы, – шептал Сеня.

– А ты бы, Аркадий, уложил бы спать сына, – говорила Вера инженеру.

– А вот какую сказку я сейчас расскажу, – заливался счастливый отец, пока Сеня целовал смеющийся рот Верочки.

Черноглазый Семен…, красногубый Семен… укатил с Верой на два дня неизвестно куда.

– Слушай-ка, – сказала Поля.

– Я люблю Веру, – ответил Сеня. – Я буду с ней жить.

– Уходи тогда, – сказала Поля.

– Некуда нам идти. Бери дочь свою и уходи жить к Аркадию.

Поля сделала жест из двух рук – до того нахально это прозвучало. Сеня улыбнулся по лагерному. Привел он Веру в дом Янкеля и затолкал в погреб ее и Полю.

– Я вас оттуда не выпущу, пока не договоритесь! – кричал им в щель.

Час молчали женщины. Видать, драться за Сеню сил у них не было. И сказала Поля:

– Открой, гад. Уйду я к Аркадию.

Взяла Белочку и ушла. Последний хахам Днепродзержинска Талмуд взял перелистал, а ничего подобного не нашел. Ну, не

нашел, так не нашел, не писать же заново Талмуд.

И проходит год, и видит Сеня: Вера, что прошлогодняя слива, а соседка Поля цветет и пахнет. И дочь его родная, единственная, растет среди болтов и гаек. А он, Сеня, днем гробы стругает, вечером колдует над золотом в том самом проклятом погребе, и для кого?

То-то и оно.

– Поля, вернись, – сказал Сеня.

В ответ привычный жест.

Крикнул ночным горлом:

– Зарежу! Поля, вернись!

– Иди к своей Вере!

Аркадий лежал рядом с Полей, немой и холодный. И от этого жить не хотелось. Сеня наматывал петли в снегу, в ушах звенел постельный голос Поли, в глазах мельтешила бабочкой родная дочь. В такую снежную ночь.

Пока снег растаял, и запела весна, Сеня и стекла бил, и дверь с петель срывал, но ничего с места не сдвинулось. Ну, разве что весна. Все дышало любовью. И однажды ворвался он в дом к Аркадию и обнял Полю.

– Вернись!

– Нет.

Но плоть говорила другое.

И в доме Аркадия Сеня взял Полю. И как узнала Вера, так сразу забрала сына Ванечку и возвратилась к Аркадию. Женщины крепче мужчин в несчастье. Аркадий в канун Пурима повесился.

Сеня сколотил гроб – всем гробам гроб, а женщины оплакивали несчастного. Люди посадили дерево у его могилы, а дети росли быстрее.

Внук Хайм-Мейера, половинка Ваня с надеждой на Господа улетел в Израиль учиться, служить в Армии Обороны, работать. Белочка вышла замуж, чтобы перебраться в Хайфу.

Ванечка нашел Беллу, когда у нее был мальчик двух лет. Чем больше они старались расстаться, тем невыносимее была разлука. Как только он накапливал шекели для гостиничного номера, они убегал в другие города. И однажды в тель-авивском отеле «Хилтон» обнаружили покончивших с собой Ванечку и Беллу. «Русские самоубийцы», – писала на другой день ивритская «Гаарец». Белочку похоронили в Хайфе, а за Ванечкой никто не обращался, и он был похоронен как самоубийца за оградой какого-то кладбища.

Рождение венеры

Зал восторга. Гастроли Югославского кордебалета. Семен же вспомнил свою «Венеру». Эх, сбежать в мастерскую, разбавить краски… косился на Ольгу, та покраснела. Чувствовала – поступки ее уже ощущали уздечку. Куда б ни позвал – как привокзальная шлюха…..

И позже, когда вышли из театра эти чувства не оставляли.

Ольга прощалась с ним (в метро и другой раз – на платформе электрички). Но выходило – провожает до дачи.

Весь этот необычный день для Ольги вытянулся в улицу с незаметным поворотом. И непременно, раньше или позже, за поворотом должна быть калитка и прощальные слова.

– У тебя мало времени на последнюю электричку.

Через несколько шагов оглянулся. Хотелось увидеть белую кофту с нежными тенями.

А ночь теплая, как под одеялом.

И тогда он вернулся. Дойдя до дома Ольги, залег. Лежа в кустарнике слышал, как где-то вдалеке пронеслась электричка.

Затылок его опирался на скрещенные руки. Там, за окном обозначился силует в ярком халате, как на японских картинках; он подкрался и стукнул в стекло, толкнул слегка – окно скрипнуло, открылось. Они смотрели друг на друга.

– Это я.

Подпрыгнул и стал коленом на подоконник, и соскочил бесшумно.

Он легко притянул ее и почувствовал запах вымытого тела. И опустил руку сначала на отворот халата.

– Не нужно.

– Почему?

– Нельзя.

– Но почему?

– Отойди. Прошу тебя.

– Ну, успокойся. Не дрожи. Не дрожи так.

Он попятился.

Постелила ему на раскладушке. Как будто они лежали в одном чемодане, но не рядом, а через перегородку.

На следующей неделе он привел ее в свою мастерскую: бетонная нора у Никитских ворот, заваленная рулонами бумаги и холстами. Окно слепое – напротив дом бельмом торчал. На подоконнике проигрыватель, заляпанный красками, и кипа пластинок: Бах, Моцарт… Он не показывал картины, она не настаивала. Они не могли оторваться друг от друга.

– Здесь нет лампы.

– Нет света?

– Однажды люстра упала на меня. Я боюсь, картины сгорят.

В следующее воскресенье она привезла Семену яблочный пирог и цветы для себя. Комната тонула в дыму и многоголосье.

– Привет.

– Ольга, это мои друзья.

Ее подбористый зад, крутящийся под платьем, пружинил при шаге: вверх-вниз. Точно резиновый. Спереди ее тоже не обидели. Подчеркивать ничего не требовалось. Будь у любого из них такая подружка, взялся бы за «Рождение Венеры».

– Скопище пьянчуг, – думала Ольга. – Но как блаженно они улыбаются. Здесь для них рай, если они привыкли к беспорядку, запахам свежего полотна и краски. Они ощущали себя центром мироздания.

В этот вечер все гурьбой завалились в «Закусочную», что в подвале у Никитских ворот. Днем нет лучше убежища от жары, но и вечером можно ловить кайф, если пить вино и нет других посетителей.

… Потом пролились дожди и красным листом лег октябрь.

На веселый многолюдный Симхат-Тора собралась Горка евреев. Мельницей переламывала обыденность в праздник. Симхат-Тора это когда танцуют люди и звезды. А горка – что поднятые к небу руки.

– Ша-алом!

– Ц-гут ентефер!

– Хаг самеах!

Парень с ковбойской шляпой растягивал меха гармошки. Музыка на лицах и еще – неравнодушие к миру. Маленькая Ида Нудель предсказывала:

– Там Яффа похож на Таллин… улочки – переулочки… десятки маленьких художественных галерей… открываются по вечерам. Кофе, музыка, интуристы… А художники продают свои полотна.

И он представил: что-то вроде Ялты… свои картины, вино в бокале….

Ольга работала в Доме книги.

Стоя за прилавком, глядя, как Семен проталкивается к ней, Ольга думала: я, быть может, еще пожалею, что связалась с ним.

Он напирал плечом, продвигался к прилавку. Оставалось пять минут до закрытия магазина, а книжники, сбившись в кучу, не расходились. Да и мудрено ли уйти от антикварных томиков Брокгауза или Петербургского Маркса.

– Заверни-ка мне обещанное, – в голосе его звучали

колокольчики (она обещала стихи Хлебникова).

– Какой-то маньяк в Москве убивает женщин в красном.

– В Москве на красной почве чокнутся немудрено.

– Шестнадцать жертв, – сказала Ольга. – Нам показывали фото. Блондин. Тысячи милиционеров его ловят.

– А мы его будем ловить в «Жигулях».

В свете, что лился с потолка, Ольгу можно спутать со школьницей. Они все еще мало знали друг о друге. Только однажды она без любопытства заметила, что по субботам он всегда уходит на Горку к друзьям.

Ей пришло в голову, что он связан с теми, кто стремился уехать в Израиль. Но он ни разу не говорил «о своем субботнем клубе», а она боялась таких разговоров. С неделю она такие разговоры ненавидела. Неделю назад она обнаружила, что забеременела.

Знакомая официантка поставила две кружки и тарелочку с креветками. И тут Ольга сказала ему, что беременна. Держала его руку, как будто наручники одела. Теперь он сообразил, что ждал от нее этих слов. Сейчас скажет: «Женись». Но она молчала. Она словно падала с неба; с неба недописанного полотна. Там, на холсте нужно выписать высокое небо, солнечное. Краски были. Счастья не хватило.

Он осторожно сбросил ее руку и взял кружку с пивом. Она увидела, как в нем просыпается чужой: он смотрел на белые кружева пены. И тогда она сказала:

– Знаешь, никогда у меня ничего не получалось и вот…

Длинные пальцы распластались. Любящие и беззащитные.

И где-то у него мелькнуло «Действительно, почему?»

– Получу вызов и улечу.

– Почему?

– Потому что картины хотят воздуха. Они живые.

– А наш маленький? И он живой.

– Маленький?

– Мало того, что безотцовский, так еще от сбежавшего, – она вдруг улыбнулась. – Хотела бы я видеть сейчас лицо папы.

Но она как будто не слышала собственного голоса, не вкладывая в слова никакого смысла. Все же было бессмысленно теперь.

– Теперь все, – спокойной подумала она. – Кончено. – Как будто последний всплеск умирающего лета.

– Я знаю русских, что уезжают с мужьями в Израиль, – сказал он.

Но, наверное, она к этому времени оглохла. Не слышала он его, это точно. Она поднялась и вышла и пошла из зала. Он взял

кружку и немного отпил. Кого больше жалеть: ее, себя или того, кто еще не родился? Какая проклятая жизнь.

Он снова поставил недописанный холст у окна и писал небо, усыпанное розами. Когда от голода стягивало живот, облизывал водопроводный кран и не отрывался, пока не чувствовал прохладу и тяжесть. Тогда возвращался к окну, зажимая тремя пальцами кисть, рука с мольбертом на отлете.

Мир устроен просто и здорово: плодитесь и размножайтесь, и для чуда нужно одно – любить. Есть ли существа красивее этих двоих – обнявшись парят под солнцем. Еще чуть-чуть и свершится: родится Венера.

Он задыхался от усталости, когда снимал (по сотне раз в день) мазки, наносил новые и видел, как они не успев высохнуть, становились мертвыми и он снимал их и насаждал новые.

Потом пришел день, когда почтальон принесла продолговатый конверт с вызовом из Израиля. Вызов Семену Маринбергу. Сыну неудачника, непризнанному художнику, обожающему цвет и линии. Уж не сошел ли он с ума?

Иногда Ольга так об этом и думала. Но как же не смешно, совсем не смешно у них получилось. Она вышла из больницы и врач предупредил: повторный аборт лишит ее материнства.

Она ждала звонка два месяца.

– Привет.

Ольга что-то из себя выдавила.

– Ничего не слышно. Это я, Семен.

Она сказала:

– Подожди. Я заверну книгу покупателю.

Потом она вернулась и сказала:

– Алло!

– Увидимся?

– Хорошо.

– Прекрасно.

Они встретились и как ни в чем ни бывало пошли к метро.

Проспект залит неоновым светом. Они пробирались сквозь толпу. Ее волосы раздувал ветер, они поблескивали.

Семен ощутил счастливую музыку желания, как-будто все сейчас в первый раз.

Самый нелепый ресторан в Москве – это «Седьмое небо» на Останкинской башне. А все же ломится публика и сюда. Как-никак чудо XX века… вращается.

Они смотрели друг на друга и каждый думал, что обречен быть один с другим, как бы долго, томительно медленно и мучительно не протекала эта связь.

Музыка вытесняла грусть. Но музыка доходила до Ольги, как

доходит зловещее бормотанье. Другое дело Семен. Он любил слушать музыку, воображал будто испытывает душевное потрясение.

– Как ты живешь?

– Ничего.

– Что нового?

– Ничего.

– Когда тебе дадут разрешение?

– Не знаю.

– Тебя это перестало интересовать?

Официантка принесла бутылку вина и холодную закуску.

– Как твоя живопись?

– Я не могу писать в плохую погоду.

– Кто же виноват? Опять погода?

Губы у Ольги дрожали. Ее вид вызывал у Семена злость. Как она внезапно побледнела.

Через голову Ольги Семен смотрел на черные стекла, где игрушечно горели огни города. Повторить все сначала, вернуть ее – это безумие. Но разве в безумном мире не величайшая глупость оставаться рассудительным?

Не доезжая на такси до ее дома, они вышли из машины. Постукивали каблучки ее по морозному, очищенному от снега асфальту. Они прошли между грузовиками, будто мимо замороженных мамонтов.

Она вздохнула и прислонилась к стене, и запоздалые слезы подступили. Он рассматривал комочки снега.

– Постоим?

– Я не ухожу.

– Ты жестокий человек.

– Я тебя не соблазнял.

– И никогда не любил.

– Неправда.

– Но в Израиль ты улетишь.

– Да.

– Ну, а мне что по-твоему делать? Перечеркнуть все и забыть?

– Не знаю.

– Ты думаешь, это возможно?

– Бывает.

Он напишет Рембранта и себя, униженного, – Червь раздавленный. «Накаркаю такую судьбу. Будь я проклят.»

Когда глаза устали различать оттенки холста, кидался с головой под кран, а потом, растянувшись на полу, хватал телефон и звонил Ольге, и долго и бестолково жаловался.

Однажды, в десятом часу вечера в прихожей позвонили.

Семен открыл дверь, вошли мороз и Ольга (шесть других комнат принадлежали шести другим семьям в этой классической коммунальной квартире образца 1974 года).

– Это я.

– Вот хорошо. Здравствуй.

– Привет.

Она спала с ним в холодной мастерской, ей снилось, будто она в сказке, где наперед ответ печалит: пойдешь направо – конь падет, налево – сам сгинешь… Кто может победить в их споре?

Им суждено расстаться. И вот именно поэтому они так цеплялись один за другого.

И снова он писал картину о влюбленных, а Ольга снова забеременела.

Когда она призналась Семену, он сказал:

– Видно такая судьба. Куда денешься?

– Тебя убьют на войне, и что я буду делать в чужой стране? Я там буду чужой и мы умрем с ребенком, потому что я ничего не умею.

– Женщине нужно любить. Больше ей ничего не нужно.

– Не тебе это говорить.

Они сидели на деревянной кушетке и лунная тень от оконной рамы падала на картину «Рождение Венеры».

Никому не нужен ее ребенок. И жаловаться бессмысленно. В этом мире у тебя либо все, либо ничего. И никто не способен понять, как тяжела ноша другого.

– Поедем к моей маме, – сказал Семен.

Она посмотрела на него пытливо, а он счел молчание за обнадеживающий признак.

Снег с дождем падали на подоконники, птицами прыгали по жести, когтями по жести.

Его мать и Ольга сразу нашли общий язык.

– Она порядочная, – сказала мама Семену.

– А все равно забеременела….

– А ты разве не виноват?

Он пожал плечами.

– Вы живете, считай, что семейной жизнью.

– Я на ней не женат.

– Но вы живете вместе. Это почти то же самое.

– Я уеду в Израиль, а она хочет остаться здесь.

– Она в тебя влюблена.

Он молчал.

– Ты ее бросишь и уже никогда не найдешь ни ее, ни своего ребенка.

Затяжная недоразвитая весна затопила среднеруссье водой и

холодом до самого сентября. Художник Оскар Рабин и коллекционер Глейзер пригласили его учавствовать в выставке.

16 сентября. 10 утра. Профсоюзная улица. Восемнадцать художников расставили на поляне свои картины. В одиннадцать бульдозеры и брандспойты месили глину с картинами.

– Через две недели устроим новую выставку, – рыдали художники, вылезая из-под гусениц.

Пчелиная осень измазала медом и золотом Измайловский парк.

За Оленьими прудами зеленели поля, очерченные лесом.

На траве влюбленные пили, целовались, смеялись солнцу.

Художники стояли в длинном ряду, как крестьяне в базарный день.

На траве картины Всеволода Ждана. «Посвящение Пастернаку», «Сумерки» и «Сельское кладбище».

– Поднимите вверх!

Черный мотоцикл упал. Но парень в кожаной куртке успел вытащить его из под ног. Он стоял бледный, в запыленных сапогах с серыми от пыли губами.

Это Ждан.

Ольга искала Семена.

Толпа вокруг гнезда с яйцом. Миша Рошаль, Гена Донской, Витя Скерсис. «Высиживайте яйца». В ногах Рошаля закупоренная затычкой винная бутылка, Гена Донской аппетитно закусывал бутерброд с ветчиной. Ветчина таяла на солнце.

– Что вы высиживаете?

– Каждый. Что хочет.

– Интересно быть экспонатом?

– О-о, – смеется Скерсис, – это зависит от того, интересная ли публика.

Но больше всего ротозеев у хиппового знамени «Мир без границ». Авторы (группа «Волосы») сидели на траве и штопали свои джинсы. Худые, длинноволосые.

«Бар-мицва» Рубашкина, мужчины в талесах, но ближе всех стоит перед Торой тринадцатилетний Шмуэль….

Как хорошо здесь! Ах, как хорошо, что Ольга здесь. Все к лучшему. Он останется при ней. Останется… с тоски повесится… Купит люстру и сожжет картины, когда она будет спать с ребеночком…

По кругу метался вчерашний гулаговец Фима в зеленой вельветке и черной ермолке.

– Господа! Не напирайте! Вы же сами себя обкрадываете. Назад! Назад!

– Как вас зовут? – кричали из толпы.

– Фима.

– Слушай, Фима, а где здесь Яков? Сплошное уродство.

– А вы думали! Страдания, борьба красивы? Идите в Манеж, к академикам, у них все красиво.

– Фима, что я уже не имею права высказаться?

– Алло, в вельветовых штанах! А вы сами художник?

– Где учился Мальберт?

– Ма-рин-берг! – Ефиму жарко. Он устал бегать по кругу. – Семен! Иди, они без тебя не могут.

Он кричал парню в ситцевой полосатой рубашке, злому от жары и гвалта. С ним стояла женщина. За всю жизнь не было у нее такого праздника, как впрочем и у ее сына.

– Мама, у меня уже живот болит объяснять им.

– На, возьми яблоко.

Так, кусая яблоко, он и вошел в круг. Мокрые курчавые волосы падали на лоб.

– Объясните крайнюю картину!

– Это «Рождение Венеры». Теме Боттичелли я придал плотский смысл. Двое возлюбленных парят надо городом, обыденностью и злом. Сама же Венера – вот она. Она не в раковине, как у Боттичелли. Моя Венера – девочка, умывающаяся в тазике. Пожалуйста, в нижнем углу.

Инкорр – японец с репортерской лихостью продрался к полотнам, присел на корточки и телеобъектив направил снизу вверх.

– «Автопортрет с Рембрандтом», – Семен выпятил губы и мясистое лицо стало насмешливым. – Рембрандт, он как луна надо мной. Он с большим бокалом светлого вина. Я ему, как Богу, дал вино. Там золотой цвет, сапфировый. А это я. Я голый, с содранной шкурой, опрокинутый на стол.

Семен исподлобья уставился на инкорра.

– Я хочу сделать заявление.

– Оккэй.

– Сегодня истекает срок моей визы, но я без картин не уеду.

– У вас много покупателей?

– Я не продал ни одной картины. Я нищий. Если у меня отберут визу, я устрою персональную выставку на любой помойке Москвы. Так и запишите: на любой помойке.

– Вы религиозны?

– Нет.

– А вы знаете, как отнесутся к вашим картинам в Израиле?

– Я художник и думаю только о своей живописи.

Ольга родила девочку, и мать Семена привезла их к себе в

Медведково.

Вот когда Семен упал в ноги к матери – спрячь Ольгу, пока не улечу.

Маленькая Ида Нудель дала ему на дорогу тысячу рублей.

На проводах родня желала счастья Семену. Ничего не желали ему Ольга и новорожденная, потому что одна себя не помнила, а другая – еще себя не знала. Ах до чего сладко убегать. Это как в сне! Начать все сначала. И еле сдерживая себя, чтобы не заорать на все Медведково, Семен выпил залпом стакан ледяной воды.

В аэропорту Лод журналисты фотографировали недавнего участника Измайловской выставки. «Инженер-геолог-художник» – так озаглавила интервью «Наша страна».

Жара слизала похмелье с оле-хадаш адон Маринберга.

– Дайте мне холст и краски. И я превращу дохлые улицы Беер-Шевы в Лувр.

Министр культуры поднял взгляд с синими наручниками на глазах и каторжно улыбнулся. – Мы можем вам дать чистую бумагу и цветные карандаши.

«Меня обманули. Я в западне! Здесь кроме скорпионов и солдат с автоматами нет ничего. Чтоб эта Ида сдохла там на своей проклятой Горке!» – написал он в Россию.

И вот уже мама Семена на Горке.

– Где Ида? Ида-а! Чтоб ты сдохла!

Старуху принимали за сумасшедшую и щадили.

А между тем, новорожденная росла, набирала вес и когда ей давали бутылочку с соской, улыбалась, отталкивалась ножками от неба.

Подпольная иешива

Веня Грушко – студент МИФИ, Веня Богомольный – продавец книг, Гарик Авигдоров – таксист, Сеня Андурский – чертежник. Сиротами алии их называли, потому что их родители улетели в Израиль. Володю Вагнера выгнали из Плешки, из музыкальной школы изгнали Витю Эскина, уволили с работы Леву Годлина. Слетелись голуби в заснеженный день на Пролетарку. На Пролетарке звенели трамваи, кричали песни, и лаяли собаки.

Илья Эссас выучил иврит и арамейский, чтобы читать Тору с комментариями.

– Твой отец был раввин Малаховской синагоги?

– Отец мой был габай, – сказал Богомольный. – Он научил меня пить пейсаховку и закусывать мацой.

– Немало для смысла жизни.

– А смысл моей жизни, – удивился Веня Грушко, – закатанные джинсы, белый пиджак, белые туфли, копна пшеницы под кипой?

– Твои предки, – серьезно сказал Илья, – заключили Завет со Всевышним служить ему.

Грушко захохотал.

– Мой предок, секретарь райкома партии, сгноил дюжину раввинов.

Илья покраснел, вот-вот взорвется.

– Я имел ввиду тех, кто стоял у подножья горы Синай, – сказал он. – Они поклялись служить Всевышнему.

– Мы свое отслужили. – сказал демобилизованный Гарик, примирительно улыбаясь.

– Да, – сказал Илья, – один ноль, но не в вашу пользу. Эта служба не объединила вас с еврейством. Вы, как младенцы, взятые в плен, вы…

Краснобородый Эссас засунул руки в карманы брюк, плечи развернуты назад.

– Нельзя ли ближе к делу, ребе?

– Так, – сказал Илья. – Я принес десять книг «Хумаш». Призываю разориться на тридцать рублей и приобрести.

Илья достал из нагрудного кармана листок.

– Мы начинаем перед Пейсах. Многие начинали в такое время и им сопутствовала удача.

– Илья, – прервал его Авигдор Эскин, – тебе на Тору упал листок.

– В данном случае, – Илья снял шпаргалку с книги, – я рассматриваю Хумаш как учебник, поэтому… но вообще…

И уже окрепшим голосом продолжал:

– По-разному учатся хасиды и митнагдим, то есть противостоящие. Здесь, я знаю, присутствуют потомки хасидов.

Урий покраснел и сдвинул шляпу на затылок.

– Я, – сказал Илья, – митнагдет. Но мы, надеюсь, будем прекрасно уживаться.

Хумаш и трапеза сблизили учеников. Стол был накрыт белой скатертью. Бутерброды с треской, яйца, брынза, отварной картофель в мундирах.

– Пока накрывается стол, – говорил Илья, – я покажу, как надевать талит. Во время чтения Торы наматываются вот так цицит на указательный палец, целуется свиток Торы.

Илья первым надел талит, за ним остальные. Все смотрели на свечу, голубая капля выросла в светлый лепесток. Тишину нарушил Розенштейн. Маленький Гриша в зеленом берете.

– А во время чумы Тору целуют через свои цицит?

Илья аж глаза вытаращил.

– Я не знаю случая, чтобы от целования Торы кто-нибудь очумел.

– Целование икон идентично, – продолжал Розенштейн. – Мистические свойства иконы и Торы…

– При чем здесь иконы, Гриша!!? – вскипел Илья. – Я удивлен…

– Я сравнил их в том контексте, что…

– Я вообще не желаю обсуждать эту тему!

– И то и другое мистические эманации, – не сдавался Розенштейн.

Расходились за полночь в моросящий дождь. Гриша завелся с новой силой.

– А зонтик в субботу модно носить?

– Если он в виде трости, – ответил Илья.

Розенштейн нес дамский зонтик. Илья шел, опираясь на зонтик-трость.

– Ты веришь в существование Бога? – просил Гриша Богомольного.

– Верю.

– Но какие у тебя есть доказательства?

– Были в жизни случаи разные…

– Я могу возбуждать энергию, – доверительно сообщил Розенштейн. И мягкой ручкой закружил над Богомольным.

– Чувствуешь?

– Не-ет.

– А теперь?

– Не-ет.

Гриша перенес «мистический генератор» на собственную

ладонь и тут же как ошпаренный отдернул руку.

– Как же так! Очень сильно!

– Лева, ты заметил, как вел себя Гарик? – спросил Богомольный, – Не пел, кидуш не делал. Зачем он каждую субботу приходит на Горку? Он преподает атеизм в МГУ!

– Да ну?!

Религиозные собрания Ильи явились спасительным островом в круговерти жизни. Раз в неделю, по четвергам, с Ильей пересекались судьбы его учеников. Три часа: парашат гашавуа, несколько слов о мезузе и дюжина вопросов про икву и профессии в Израиле…

– Шестидневная война, – начал Эссас, – перекинула мост от нас к Моисею. Опоры моста еликие: Давид, Соломон. При Соломоне страна расцвела. Иудейское царство разгромил Вавилон, Израильское – ассирийцы. Иерусалим пал в руки язычников. Храм Соломона разрушен. Ничто не вечно. И вавилонцы, кстати, тоже. Их покорили персы. При персах евреи восстановили Храм. А на арену истории вышел Александр Македонский. Он не посягал на еврейские обычаи и законы. Но едва он умер, до власти дорвался Антиох. Он назначал первосвященниками продажных шкур, и те ради живота своего насаждали эллинизм…

Перед началом трапезы Илья предложил к следующему занятию выучить наизусть «Шма Исраэль»:

– Это не просьба. Это условие наших будущих встреч. И еще одно условие: традиционно Тору изучают активно, то есть хочу предупредить. Что каждый из вас будет делать доклады. А для этого нужно помимо Хумаша читать комментарии Раши. Ну, как, приятная новость?..

… Покончив с «парашат гашавуа» ученики выстроились у рукомойника за «натилат ядаим». На столе отварная картошка, консервная килька на черных ломтиках хлеба, тарелочка лука, соль и графин томатного сока. Браха на хлеб, и начинаются разговоры на тему дня.

– И услышал Картер от Бегина, что Израиль – это Эрец Исраэль. И ничего ужасного не произошло. Уши Картера проглотили и это, как и то, что Бегин – религиозный человек, и что Хеврон – это Хеврон и нет границ красных, зеленых, а есть границы, данные Богом. Ну, и что же произошло после такого заявления Бегина? Ничего страшного. Наоборот, все пошло наилучшим образом.

– Илья, – обратился к учителю Чернобельский, – я заметил: в Торе главные события связаны с водой. «Маим» встречается едва

ли не на каждой странице. Ревеку встретил Исаак у колодца, Яков – Рахиль, и Моше у колодца встретил жену свою… Моисей ударил по скале – пошла вода…

– Да, это очень интересно, – сказал Илья. – Евреи как песок, а Тора делает их народом, как вода монолитит песок. Между прочим, я давно хотел обратить ваше внимание на одно странное место: освобождение евреев от рабства. Этот метод освобождения был непонятен самому Моисею. Прежде всего, когда еще из огня услышал Гашема: «Отпусти народ мой, дабы принесли они жертву мне». Но Моше сказал фараону другое: «Отпусти народ мой на службу мне», то есть народ будет служить творцу, а не рабу его фараону. И еще… Гашем сказал: «ужесточу я сердце фараона…», и этого Моисей не мог понять. Вся штука в том, что евреи считали бы фараона освободителем. Отпусти он их с ходу. Гашему нужно иное: признания не только от избранного народа, но и фараона. Пусть хозяин поймет, в чем дело… А теперь попрошу Авигдора сделать небольшое сообщение.

– Приготовьте сидуры, – попросил Авигдор. – Мы вступили в эпоху Мессии… Шесть начальных дней создавался мир, седьмой день – суббота. Суббота – это намек на Мессию… две тысячи лет до получения Торы, две тысячи лет жизни на Эрец Исраэль, две тысячи галута. И вот идет седьмое тысячелетие… Мессия придет через двести – двести пятьдесят лет. Но вполне возможно, что и раньше. Мы можем приблизить ее своей праведностью. И первыми воскреснут те, кто лежит в земле Израиля. Лишь немногие праведники за границей воскреснут, но тела их будут продираться сквозь землю. От каждого человека – будь он захоронен или сожжен – останется некая косточка…

– А где она расположена, Авигдор? – нетерпеливо воскликнул Балашов.

– Э-э… в районе шеи. Так вот. Мессия наступит, как наступает морской прилив…

Проголодавшиеся сотрапезники Авигдора наконец накинулись на бутерброды, и разговор на какое-то время разбился на тихие осколки. Никто не спорил с юным Авигдором, все хотели есть. И только под конец сеуды Володя Балашов, сильно волнуясь и заикаясь, громко сказал:

– А и-интересно, кто из антисемитов воскреснет? Я сам бы-ыл а-антисемитом, пока не стал е-е-вреем.

Взрыв хохота не обескуражил его. Он улыбнулся, поправил очки и продолжал:

– Я д-думаю, ч-что анти-исемитизм об-бъясняется тремя, значит, п-причинами: первая причина – это люди замечают, ч-что еврей очень легко и к-как бы смиряется с пе-переменой

обстановки. Но это же не п-простое смирение. Это быстрое вживание в новую среду. Люди, не видя этого вживания, видят лишь смиренность… и думают с перзрением: «Да что за человек? Дрянь! Презираю». В-вторя причина: евреи пугают окружающих своей неприязнью любого гойского идола. Принять же невидимого еврейского Б-га они не могут… Теперь еще…

Балашов отпил несколько глотков томатного сока.

– … теперь еще: люди назвали евреями много тысяч лет тому назад тех, кто пришел с другой стороны… Что это за сторона? До их прихода на землю здесь были только растения и животные. Адам и Ева – евреи, которые принесли неведомую Земле цивилизацию. Среди животных был дикий человек… И эти первые миссионеры Адам и Ева им… диким людям, дали Тору…

– Ну, Балашов! – воскликнул Нудлер, улыбаясь и поправляя очки. – Ну, фантазер! По-твоему, мы инопланетяне?

Теперь уже смеялись все.

– Но отчего же евреи повсюду так резко выделяются?

– Да, полно! – Нудлер снял очки и вытер слезы. – Моя бывшая теща кричала в пьяном угаре, что евреи самый грязный и неряшливый народ, что они не умываются и копят деньги, что они хуже татарского ига. Откуда она все это взяла? Но даже эта пьянь не додумалась до инопланетянства. Ты хоть гоим об этом не говори, а то нас начнут запускать в космос – мол, проваливайте, откуда пришли.

– Ну, сегодня им это не по зубам, – улыбнулся Илья.

– Мы здесь, по сути, все время говорим об истории, – сказал Чернобельский, – Интересно, конечно, что другие думают о тебе, но ведь гораздо важнее, что сами евреи знают о себе. А что мы знаем? То-то и оно.

– Чай пить будете, ребята?

Чаю обрадовались все.

– …Ву бэ эмха… не делай другому того, чего не хочешь, чтобы тебе делали. Вот еврейский подход к разрешению, казалось бы, неразрешимой, невыполнимой мицвы «люби ближнего, как самого себя». Именно этим нужно руководствоваться в повседневной жизни.

– В книге «Тания», – заметил Мишка Нудлер, – сказано, что в каждом человеке есть «Элохим», Божественная частица.

– Да-а, – хмыкнул Илья без особого энтузиазма. – Общий знаменатель: любовь.

– Попробуй найди этот знаменатель у Амалика, – поддакнул Лева.

– А как сегодня отличить Амалека от не-Амалека? –

высунулся Андурский.

– Я молчу, – заявил Ильи. – Специально умолчу.

Звонок в дверь прервал занятия. Милиционер и трое дружинников вошли следом за Семеном.

– Что у вас здесь происходит? – спросил капитан, глядя на молодых людей, сидевших за книгами в головных уборах.

– Это мои друзья. Мы беседуем о еврейской истории, потом собирались пить чай.

– Друзья, говоришь. Ну-ка, приготовьте документы…

Миква

Командировал меня на Камчатку старый хрыч Бондаренко. И слава Богу, а то КГБ бы рано или поздно вычислило бы маленького очкарика на Пушкинской среди диссидентов.

Снег падал в угоду декабрю. Солженицын серьезен как старовер, он в этом похож на генерала Григоренко. Толпе холодно и она сжимается вокруг выступающих. А молодые чекисты охватили ее обручем и раскачивают туда – сюда. Ну, чтоб людям тошно стало.

Андрей Сахаров снял шапку, говорил о жертвах сталинских репрессий. Старенький палач нагнулся, скомкал снег и бросил в голову академика. Вот сука неуемная. Толпу вытолкнули на проезжую часть Горького и сразу начали хватать молодняк в милицейские автобусы. Я здесь за отчима – за анекдот в окопе отсидел в Магадане с 41-го по 55.

А сейчас было 5 декабря 65-го года.

Я вел дневник, как это делал некогда покойный мой отец Лева Коган. И ничего с собой я поделать не мог.

И вот, моя командировка, молодого гидротехника на Камчатку, подальше от арестов, а заодно сбежать от тещи, от еженедельных уроков рава Эсасса с пятничной миквой – бетонная яма – ритуальный бассейн, с зеленой жижей, откуда выходишь уже субботней жабой. Я был счастлив улететь на Камчатку, как на свободу.

Итак, Камчатка, метель на всю голову и всеобщая бесшабашность. Мне предстояло с местными геологами определить место строительства волнолома порта, но мы не просыхали от попоек. Накануне Православного рождества мы загрузили два уазика жратвой и водкой и выдвинулись в горы, на Паратунку.

Лишь в полночь мы добрались в долину гейзеров, по грудь сугробы и в тишине не шевелятся огромные «каменные» березы, и снежная мишура под звездным лунным небом.

Расположились в фанерном домике, опоясанном трубами с горячей водой. Сбросили вещи на детскую кровать, выпили за приезд и пошли тропой туда, ради чего приехали – окунуться в горячую воду, а потом валяться в снегу на тридцатиградусном морозе и опять в горячую воду. Голышом. Внезапно обрушился снегопад.

– Вот наш бассейн. – Мануйлов показал на бетонную яму.

Это была яма два на три метра. Типичная миква – купальня.

Заполнили яму подземным кипятком и забросали снегом. А потом вернулись в балок.

Стол в балоке заставлен водкой, консервами, хлебом. Тост за тостом становись чаще и чаще. Парами голышом выбегали в морозную ночь и бегом – к воде. Стометровку пробегали пулей. Последняя пара я и рыжий крепыш Антон. Мы вошли в воду. Больше десяти минут в такой воде опасно сердцу. Валялись в сугробах, тело пронизывали тысячи ледяных иголок, вновь в горячую воду.

В конце концов, мне поплохело и я стал канючить, что пора в балок. Мы оглянулись, кругом – одни сугробы. За полчаса так намело! И главное – где наш балок? А мы с Антоном коротышки. Прыг – прыг. Не видно огонька. Снова в кипяток, снова подпрыгивали. Низги. Мы переглянулись. Побежали в сторону, бегом обратно. Бросились в воду, согрелись, прыгнули в другую сторону. Вновь – в воду. Все бесполезно. Опять вода, опять подскоки. И вдруг огонек вспыхнул. Но, Боже мой, как далеко и совсем в другом направлении, чем наш родной балок. То был единственный во всем мире огонек. И не сговариваясь, по-заячьи помчались по сугробам. Только бы он не погас! Наконец, мы застучали в запертую дверь.

В окне появилось бородатое лицо.

– Кто там?

– Мы!!

Человек в ужасе смотрел на голых мужиков в снегу.

Открылась дверь. Мы были спасены. Он дал нам телогрейки, напоил чаем.

Когда пришли мы в наш балок там, в темноте все спали пьяным сном…

Охота на сову

– Здравствуйте. Я вам звонила несколько раз домой. Мама с вами разговаривала… – слышал Дима по телефону.

Он поднял взгляд – одиннадцать сотрудников вокруг.

– Дмитрий, мы можем с вами встретиться?

– Да. А где?

– Там, где вы разговаривали с мамой. Меня зовут Марина.

– Я заканчиваю в семнадцать. В шесть не поздно?

– Лучше в семь.

– Хорошо, а как мы узнаем друг друга?

– Ну, я полагаю, кроме нас там никого не будет.

Завораживающий голос тихони.

…Тому назад недели две к Диме подошла женщина в каракулевой шубе, лет сорока с яблочным улыбчивым лицом.

– Моя дочь хочет выйти замуж только за еврея. Она аспирантка университета. Вам сколько?

– Сорок.

– Вы были женаты?

– Да. Я живу с сыном.

… Что он там еще ей говорил…

– А нет ли у вас друга лет тридцати, можно тридцати трех? – спросила тогда мать Марины.

Но что же надеть на свидание? Туфли на высоких каблуках. В них невозможно ходить, но их приятно сбросить, скажем, под столом ресторана. Будет заливать Марине про еврейские праздники, а под столом незаметно разуется. К черту электробритву. Настоящие мужчины бреются лезвием. Он идет на свидание, он мужчина. Но попробуй найти помазок, если не покупал. И остается мочалка и мыло. Из-под лезвия кровь хлестала с подбородка и шеи.

Сбежала от Димы жена, оставив сына, книги, мать свою и эту мочалку, белую от мыльной пены и красную от крови.

Он спешил на свидание – не поскользнуться бы. Синагога закрыта. Снег скрывал ступени лестницы, скрипел под ногами. В минус двадцать чувствуешь себя чукчей-оленеводом, если видишь у каждого мужчины под шапкой рога. Дима маячил – шаг туда, шаг сюда.

Где она, Марина или как там ее?

Она увиделась на близком расстоянии в коричневом пальто и мальчиковой шапке.

– Здравствуйте, Дима, простите что опоздала.

Она чуть выше Димы и его каблуков с замерзшими ногами. Такие ноги легче ампутировать, чем за собой волочь.

– Мама что-нибудь рассказывала обо мне?

– …Вы учитесь в аспирантуре…хотите познакомиться…..

– И все? Я просила ее ни о чем не говорить.

О чем она?

Он смотрел на нее. Двадцатилетней давности студентка шла рядом с ним. Ах если бы не туфли и собачий холод! Хотелось бросить свое тело куда-нибудь в тепло. Но «нет свободных мест» – в кафе.

– Я люблю ленинградские места в Москве, – сказала Марина. – Пойдемте к консерватории.

Он глотнул воздух. Замораживаться так замораживаться. Бедняга и не знал, что в Москве есть ленинградские места. Они остановились в ногах бронзового Чайковского. Обувь у него не чета нашей. Падал снег, и композитор будто на качелях. Если бы Димкины ноги не упирались в туфли как в жестянки и голодуха не стягивала живот. Ах, если бы не эти «если». Рядом шла Марина, и он в конце концов, задравши голову к звездному январю, начал трепаться – изгнание Иосифа Бродского, смерть Галича, ханукальные свечи…

– Я вам не надоел?

Он забыл и холод и туфли.

– Ну что вы! Вы так красиво говорите. Впрочем «красиво» это даже оскорбительно. Это все очень интересно. Вы знакомы с легендарными людьми. Я вам завидую.

Поворот головы и рядом девичье лицо – раскрасневшееся, с красным чувствительным ртом и южными глазами. В такой мороз!

– Ну а теперь куда? Дима с надеждой взглянул на часы.

– Теперь? Я хочу посмотреть Патриаршие пруды.

Там скамейничал Миша Булгаков со всеими привидениями. И добро, знал бы Дима, где это. Где-то в шаге от Дома писателей.

Писателям не вставать завтра в шесть. Но ведь не они, а Дима сейчас играл студента двадцатилетней давности.

И все законы
На миг в загоне
На миг улыбки
Как светофоры
И в каждом сердце
По кораблю.

Скамейка Мастера занесена снегом, как впрочем и пруды.

Безлюдно до берлиозности. А ведь у растаявших Патриарших прудов уже отсидели свое два потных от жары писателя, когда явился консультант Воланд с дьявольской свитой, и Аннушка по прозвищу Чума уже разлила подсолнечное масло. Все уже было, черт возьми. Давным давно зима.

Он сказал:

– Хорошо бы нам летом найти тут местечко для себя.

Это была праздная мысль, треп ровно ничего не значил.

Она разглядывала погасшие окна зданий, блуждали вокруг пруда и тени их – тени упрямых скитальцев.

– Вы знали Альбрехта? – вдруг спросила она.

– Володьку? Я переписывал для него «Плод» с черновиков.

– Везло вам. Я эту книгу читала.

– Я смутно ее помню. Марин, а зачем ты хочешь еврейскую семью?

– О-о, печь субботние халы, зажигать свечи….

Еще сильнее не хотелось уезжать в Голодную степь.

Она жила в общежитии на Ленинских горах, и когда Дима, наконец, простился у проходной, часы раскручивали второй час ночи. Четыре часа до подъема. Сдохнуть можно.

Январь и потом февраль он катался с ней на коньках. Он пьянел ее молодостью. Она успокаивалась возможностью вступить с ним в брак и получить московскую прописку.

– Ну ты, батя, даешь, – посмеивался сын.

– Даю-даю. Женюсь скоро, – отвечал отец.

Марина опаздывала на тридцать-сорок минут.

– Кажется, я тоже начну опаздывать.

– Бесполезно. Я знаю, сколько меня ждут.

Она целовалась, втягивая в себя его язык.

– Мне нравится, что вы меня ни о чем не расспрашиваете.

Он чувствовал на своем лице ее ладони.

– Когда мы снова встретимся?

– Я вам позвоню.

– Здесь темно.

– Я не люблю свет. Я существо ночное. Я сова.

– Да-а, – Дима едва не расшаркался. – А я однажды в Саяных подстрелил двух совушек одним выстрелом. Сидели рядом на сосне. И я убил их, чтобы доказать, что я умею убивать.

Марина опустила голову, а когда подняла ее, он встретил взгляд ужаса.

– В понедельник со мной беседовали андропологи, – сказала

Марина. – Я входила в группу «солидарность». Но по-московски.

– Ты сошла с ума!

– Вот и моя мама такой же паникер. Вы другое поколение.

– Самиздат размножали?

– Они пригрозили: «Стоит нам позвонить на кафедру…» всех уже посадили, сослали… На меня ребята косятся – мол, раскололась.

– Надо пережить.

– Можно спрятаться на год в психиатричку, но я так привыкла к университету! Отчим прислал ультимативное письмо из Тулы – или я соглашаюсь на дурдом или мне прекращают всякую помощь.

– Сколько охотников на одну сову.

– Хотят из меня сделать доносчика. Они говорят: «Вас ожидает судьба вашего приятеля, если не дадите показания». Я должна им написать обо всем. Господи, я сойду с ума. Я чувствую себя одинокой и беспомощной…

Ему захотелось упасть перед ней на колени и целовать сквозь ботинки ее ноги.

– Выходи за меня замуж. Это как прыжок. Долго рассуждать – раздумаешь.

– А вы во мне уверены?

– Я уверен в себе.

– А когда подадим документы?

– А завтра и подадим.

– Идемте кататься. Я замерзла.

Ночь он пролежал без сна. Зря он ей рассказал про тот выстрел в тайге. Тот выстрел – бахвальство перед женой, что сбежала от сына и от него через шестнадцать лет. «Ты никогда не был мне мужем… Нас ничего не связывает…. Жизнь дается один раз и я не обязана приносить ее тебе в жертву… Ты ко мне относился, как к половой тряпке… Жид пархатый… Я тебя ненавижу»… Что она еще говорила ему? Да мало ли что. Она сравнивала его с двадцатидвухлетним любовником. Она мстила времени и тем, кто удачливее, чем она. Ну что же, завтра Дима возьмет реванш, чтобы тоже бахвалиться: жизнь дается один раз…

Днем он отпросился у начальника, купил цветы, апельсины, шампанское. Марина опоздала на сорок минут. Взгляд, каждое движение ее излучали гневливость и лицо багровое – лицо небритого хлопца. Цветы приняла без улыбки.

– А на какой месяц принимают заявления? – спросила она.

«Заявления принимают на март», – ответили в ЗАГСе.

Нам надо подумать, – ответила Марина.

Он вышел следом за ней на улицу. Лысый Дима, точно

заблудившийся круглоглазик. Мультфильмовский придурок с цветами, апельсинами и шампанским. А уж на работе будут ехидничать…

– Ну, я еду в библиотеку, – сказала Марина.

– Не оставляй меня сегодня, а?

– Мне сентименты чужды, – сказала Марина. – Но вы можете меня проводить к библиотеке на Моховую. Кстати, зайдем по дороге в синагогу.

– Мар, скажи мне «ты».

– Я не могу. Наверное, сказывается разность в возрасте.

Синагога безлюдна. Они опустили в ящик пожертвований монеты и вернулись на улицу.

– Идемте, но только быстро.

– Я к тебе очень привык, – сказал Дима.

Это было не совсем так, но он на это надеялся.

– Это меня пугает.

– Почему?

– Потом когда-нибудь объясню.

Она шла на отрыв, не видела Диму, ему даже почудилось – она тяготилась им. Она его не любит… Любишь ты – не любят тебя. Такова жизнь? Но тогда зачем она брала охапки снега и протягивала ему – послушайте, как звенят кристаллы! Он тряс их, они перезвоном напомнили ему весенних птиц. А до весны еще далеко.

На весенний праздник Пурим его друг Шломо пригласил их на фестиваль пуримшпилей. Шломо со школьниками играли пуримшпиль. Марина немо стояла в углу комнаты, где набились две сотни любопытных, где актеры-любители сменялись детьми, а следом становились к стене иные и не похожая на предыдущие истории игралась. Впрочем, история одна – падение и возрождение народа.

Волны моря. Лицо Марины – два лепестка розы в комнате, где духота обливала всех потом. В такие мгновенья мужчины от Марины сходили с ума. Она принадлежала к женщинам, кто красотой своей владел изнутри. Так наверное поют.

Дима познакомил «сову» с друзьями, и ватагой возвращались к метро.

На Ленинских Горах она сказала Диме:

– Провожать меня до проходной не нужно. Я не хочу разговоров.

– Я люблю тебя.

– Скажите это на иврите.

– Ани охав шелах, – послушным идиотом сказал Дима. – Послезавтра восьмое марта.

– Я не признаю этот праздник.

Она ушла не оглянувшись.

Седьмого марта Дима с институтскими сотрудниками загружали автомашины на овощной базе луком и яблоками, а потом, как это делается, выпили. На площади Трех Вокзалов он купил два билета в театр и позвонил Марине.

– На завтра!

– А я вас завтра приглашаю к себе. Моя соседка уехала домой.

Восьмого марта вымытый и выбритый, с женскими колготками в кармане приперся лысый Дима к общежитию аспирантов. Она опоздала на двадцать минут.

– Я пойду в стороне от вас. Поднимитесь на 7-й этаж, налево по коридору, последняя комната. Но чтобы никто не видел, как вы ко мне входите.

Он проглотил и это. И с ним, действительно, не церемонились.

Затемненная келья Марины – это раскладушка с неубранной постелью, на подоконнике бутыль виноградного сока, на письменном столе блюдце с поджаренными ломтиками черного хлеба и сахарница. Целовались сначала у окна, потом на раскладушке. Наконец, он сказал, как бы сам не свой (так всегда случалось с ним в незабываемые мгновенья).

– Я хочу тебя, Марина. Я хочу чтобы ты мне родила сына… хочу, чтобы мы стали перед Богом мужем и женой…

– Хорошо, – сказала она. – Отвернитесь.

Он сбрасывал одежду с себя, еще не веря ей, обернулся. Она сидела на раскладушке в нижней рубашке, ноги – под одеялом. Он снял с нее рубашку и увидел грудь с розовыми сосками. Она стеснялась ласк. Вообще все жутко быстро произошло.

– Перегорел я, – виновато улыбнулся Дима.

Но она молчаливая и нежная легко успокоила его и через несколько минут он снова взял ее и на этот раз они соединились надолго, насколько это бывает у очень сильных людей. Третий раз Марна просила уже сама:

– Ты меня еще хочешь? Только будь осторожней.

Она обняла его ногами.

Они пили чай с ломтиками черного хлеба. У нее вдруг разболелся живот.

– У меня язва.

– Нужно обратиться к врачу.

– Нет.

Боль скоро отступила. Марина пошла провожать его. И на этот раз – порознь.

– Ну, вы не расстраиваетесь, что не пошли в театр?

– Я счастлив.

– Ну вы соблюдали предосторожность?

Он едва не расхохотался в ответ. Какого черта!? Это была охота за молодостью и ружье он держал без чехла. Он торжествовал сейчас над всеми женщинами и над бывшей своей женой.

– Теперь не скоро, – сказала Марина.

Он улыбнулся кошачьими глазами.

Две недели он ждал ее звонка.

– Прости, Марин, что я звоню первым. Как дела?..

– Я ведь просила мне не звонить. – сказала Марина.

– Когда мы встретимся?

Она молчала. Говорила она ему или нет, что ее приятель Коля вернулся из ссылки?

– Может быть тебе неудобно говорить? – раздалось в трубке.

Этот Дима ее достал-таки.

– Дима, – сказала она, – ко мне приезжала мама, мы поговорили и в общем… Ну, это не телефонный разговор. Во всяком случае, я не стою того, чтобы из-за меня расстраиваться.

Она попрощалась и выбрала для этого телефон.

Несколько дней он ничего не чувствовал, кроме того, что он отвергнут. Отвергнут. Не привыкать как-будто. На пятый день он обнаружил, что стоит посреди комнаты – лицом к картине дачного лета. За окном пороша снежила балкон, но Дима был сейчас в лето.

Она позвонила в середине мая.

– Дима, нам надо встретиться. Я буду вас ждать у станции метро «Университет» через час.

– Хорошо. Ты не опоздаешь?

– Я приду на этот раз вовремя.

Она пришла даже раньше. В черном пальто. В большой черной шляпе. Лицо цвета огнедышашей лавы.

– Идемте, – сказала Марина и конвоировала его в темный трамвайный сквер.

– Я вас тогда просила быть осторожней. Я ведь просила!

– Ты беременная? У нас будет ребенок!

– Я влипла. Мне он не нужен сейчас. Вы все испортили!

– Все будет хорошо, вот увидишь.

– Идиот! Чему вы улыбаетесь? Я вам отдам ребенка и делайте с ним что хотите. Тогда не так запоете.

– Это в тебе говорит страх. Все будет хорошо.

– Ну вот что, узнаете в ЗАГСе на какое число принимают заявления, чтобы мне не позориться и не брать справку.

– Почему ты из наших отношений делаешь тайну? Ты

стыдишься меня?

– Мы друг другу не пара. Разве вы не заметили взгляды ваших друзей.

– Это очень важно – взгляды?

– А вы сами не понимаете, что мы не подходим друг другу? Моя мама имела ввиду совсем не вас.

– Друзья, мама…. Сама ты где?

Увы, она не знала. Приятель ее Коля бродяжничал в Москве (дома в Иркутстке его ждали повестки из райвоенкомата), предлагал ей стать вместе с ним русскими хиппи.

– Я не могу делать аборт, врач предупредила, что у меня больше не может быть детей.

– А я тебя не заставляю делать аборт.

– Ну вот возьмете его себе.

– Мы будем жить вместе?

– Еще чего! Я в университете! Он будет искусственник. О чем вы думали, когда я вас предупреждала?! Двадцать лет пожили с женой и не знаете элементарных вещей.

– Это что ж, я останусь с двумя детьми?

– А вы как думали? Я вас предупреждала. Конечно, я тоже наполовину виновата, но вы… взрослый человек… Если бы я могла знать! …

– Ты позвала в гости и я, дурак, поверил в любовь.

– Впервые встречаюсь с психом. Если бы вы не сделали мне подлость, мы бы по-хорошему расстались и все. Но теперь поздно. Нужно спасаться от позора!

– Когда ты пригласила…

– Хватит об этом. Просто я хотела посмотреть, что вы за партнер. Вам же было бы потом хуже. Я кажется, сойду с ума….

– Все будет хорошо, – тупо сказал Дима.

– Мне не нужен ребенок. Понимаете?!

– А ему уже плевать на это! – вдруг заорал Дима. – Понимаешь?! Он уже живет и имеет на это право. И ты его родишь – хочешь того или нет.

– Пусть другие коровы рожают. Я на вас так зла! Это уже никогда не пройдет.

– Все проходит, увы, – сказал Дима тихо, на выдохе.

– Вы можете получить для меня квартиру? Я должна жить одна.

– Одна?

– Я не переношу окружающих, если они дебилы.

– Ты можешь пожалеть потом…

– Я уже жалею, но завтра мы все равно подадим документы в ЗАГС.

– Пусть так, – сказал он.

На следующий день Дима на работу с паспортом приперся – ни жив ни мертв. Марина позвонила в одиннадцать.

– Вы взяли паспорт? Я позвоню еще в конце дня.

В семнадцать она сообщила, что занята и они пойдут в ЗАГС в другой день.

Она отпустила его на неделю и он уж было облегченно вздохнул.

И вот только он расслабился, она – хлоп и накрыла его звоночком.

– Паспорт при вас?!!! – тихий голосок.

– Нет.

Нет, кончено! Или она думает – Дима спит и видит себя в ЗАГСе? К чертям собачьим этот брак. Да здравствует покой и воля!

– Я буду, Дима, ждать вас у того заведения в половине седьмого. Не опаздывайте.

Он держал в руках трубку, а чувствовал себя бараном перед коброй. До этого он и не знал, что гипноз бывает по телефону. Жизнь, рабойсим, действительно прекрасна и удивительна. В восемнадцать-тридцать он с паспортом в кармане – улыбкой на лице встречал Марину.

Увидела Диму в шагах десяти и, неподходя к нему, направилась в ЗАГС. Его протянутая рука – взмах неуклюжий, ее коричневое платье – грубое и свободное сливалось с маской гневливости на лице. Так может мужчину ненавидеть только много лет прожившая с ним женщина.

– Марин!..

Платье ее вмещало такое подолье, что оно выпирало отовсюду полосами и пуговицами. И неужели за неделю лицо так обрастает волосами? А ведь она была красавицей. Была красавицей в зимнюю субботу на Горке.

Во дворе ЗАГСа дети рвали одуванчики, бегала болонка за мячом. Две женщины с детскими колясками прогуливались асфальтом. Дима сопровождал Марину, но чувствовал себя приговоренным. Между тем, она сгорала нетерпением избавиться от ЗАГСа и Димы. Но в зале ожидания очень людно – нет свободных мест. Маска Марины – досада. Они остановились у окна с широким подоконием.

– Если ты меня не любишь, зачем тебе выходить замуж?

– Я сейчас думаю о ребенке. Кстати, ваша мать могла бы взять его?

– Она почти слепая.

– Но моя мать никогда не согласиться.

– Они здесь, Марина, ни причем. Ребенок-то наш.

– Воспитывать его каждодневными скандалами?

– Что же делать?

– Теперь уже поздно думать.

– Почему те, кто от меня беременеют, меня ненавидят? Проклятье какое-то.

– Вы мне подсунули такую свинью, что я вас буду всегда ненавидеть. По-крайней мере очень долго.

– Да-а, перспектива!

– Здесь как в загоне. Кретинизм. Я выйду на двадцать минут. Все равно очередь! У вас есть деньги?

– Двадцать рублей.

– Я пообещаю подарок, если нас поскорее распишут. Или придется вам подыскать какую-нибудь девушку в день регистрации за меня присутствовать, я могу быть в экспедиции….

– За тебя присутствовать?

– Второй раз сюда являться?! Хм-м, просто я могу быть в экспедиции. Я, конечно, постараюсь… Так, я пошла.

Он отвернулся к окну. Заведующая раздавала бланки. Дима безучастно наблюдал за жизнью двора.

– Почему вы не берете бланки? – Марина здесь. – Это мне, а этот заполнять вам. Вот влипла… У меня, естественно, свидетеля не будет. Я только на кафедре кольцо суну им в морды. Вы найдете двух свидетелей?

– Я? … Я не знаю.

– Ну, поставите бутылку пьянице с улицы. Сын ваш придет?

– Сын?… – Дима заполнял в бланке свои данные.

– Все-таки разница в девятнадцать лет, а не в восемнадцать, – сказала Марина, заглядывая через плечо.

Лицо ее превратилось в кровоточащую рану.

В графе «год рождения» она записала 1984 вместо 1961. Не в себе была она. Она остановила заведующую.

– Можно с вами поговорить?

В отдельном кабинете.

– Я на третьем месяце беременности… уезжаю в экспедицию… Мы вас отблагодарим…

– Только в общей очереди.

Общей, так общей, обрадовался Дима, спешить с такой ведьмой некуда. Некуда-некуда. Некуда и незачем!

На улице она сказала:

– Вы пойдете в салон для новобрачных?

– Посмотри! – сказал он. – Я уже лысый! Меня туда уже не пустят!

Она усмехнулась.

– Ну, кольцо, я полагаю, вам тоже носить не обязательно.

Дима только бровь взметнул, а слов не нашлось. И главное – будто тошнить начал. Она заметила.

– Противно смотреть, как вы разыгрываете из себя несчастного. Уж кому гадко, так это мне. Нам нужно обговорить дальнейшее. Вы сможете платить сто рублей в месяц?

– За ребенка?

– Я отвезу его дальней родственнице, в деревню.

– Отвезешь?

– Под Тулу, если она согласится. Ей семьдесят три года… Помогу на огороде.

– Ты будешь меня прятать не только от своих друзей, но и от моего собственного ребенка? Я для него тоже старый?

– От своих друзей я вас буду прятать. А дома, в конце концов, это мое личное дело с кем быть. Между прочим, у меня к вам очень серьезная просьба – никому на Горке не говорите о браке, и вообще, обо мне – уехала-мол, куда – не знаю.

– Значит, для всех: я тебя не знаю.

– Я не хочу, понимаете, чтобы мои друзья узнали об этом браке, вообще, что я выходу замуж.

– Да-а, – вздохнул Дима. – Грустно-о…

– То ли еще будет, – усмехнулась Марина.

– Однажды со мною подобное было, увы.

– Представляю, что может родиться… Дебила да еще больной.

– Делай аборт и кончим на этом.

– Конечно, Вам наплевать, что я больше не смогу рожать.

– Ну рожай! Но я еще подумаю – расписываться или нет.

– Теперь уже поздно рассуждать.

– Рассуждать никогда не поздно.

– Если вы откажетесь расписываться, я буду мстить. Я очень мстительная. Ребенок жить не будет – достаточно не покормить день и он умрет.

Дима едва сдержался, чтобы не заорать. С ним что-то стряслось, потому что ни страха, ни угрызения совести, ни тем более любви к Марине он больше не испытывал. Эта молодая женщина в странном коричневом платье, возможно, даже беременная от него, вдруг стала чужой.

– Я объявлю на кафедре, что выхожу замуж, а вы потом откажетесь?

– Откажусь.

– Я вам даю два дня на размышление.

Уже на другой день он совершенно уверился, что брак с

Мариной – безумие.

«Я буду мстить. Я мстительная».

Мсти! А только на поводу у тебя я не пойду, – твердил он себе. – Я не кролик, ты не кобра. Женись, но ходи холостым, плати сто рублей на ребенка, а видеть его не моги. Да и твой ли он, Дима?! То-то и оно. Нет, сова, мы хоть и остолопы, но не на столько, чтобы жениться на тебе.

Он теперь не хотел вспоминать, что просил ее стать ему женой перед Б-гом и она стала ею. И разве их ребенок не подтверждение того? Плевать! Ни Бог, ни черт – никто его не заставит жить с такой ведьмой. Она была его женой, и теперь он дает ей развод. Расплевались – и баста.

Три дня минуло – от нее ни слуху, ни духу. На пятый день Дима уже не просыпался среди ночи в холодном поту. Ожил мужик. После работы выпил с другом в «Подкове» по три кружки пива и даже с настроением готовил ужин. Включил телевизор, а там «Ночь без птиц». И ничего-то больше не надо.

Ему-то не надо, а к Марине мама приезжает.

– Дима, – позвонила она, – я хочу все рассказать маме.

Он снова чуть было не полетел в пропасть…

– Что «все»? – сказа он. – Я расписываться не буду. Хоть стреляй в меня, а не буду.

– А что случилось?

– Да то и случилось, что я решил не расписываться с тобой.

– Вы хорошо подумали?

– Как уж могу.

Она повесила трубку. Через полчаса позвонила вновь и попросила встретиться у кинотеатра «Прогресс». Пришла она почти одновременно с Димой и была на этот раз красивой и растерянной.

– Что случилось? – спросила Марина. – Почему вдруг? …

Почему вдруг ты ускользаешь – такой смирный, почти дрессированный.

– Я у тебя вместо якоря.

– Вместо якоря?

– Я говорил тебе: я по тебе скучаю: ты отвечала: это меня пугает. В твоих планах эмоциям места не было.

– В моих планах?

– Это твое «вы». Ты мне мстила за разницу в возрасте. Да ты и не скрывала этого. «Мы не смотримся рядом». Кажется, я правильно цитирую?

– Ну, я преувеличивала тогда.

– А это твое «я влипла».

– Я была раздражена. Я виновата. Но мужчина должен быть

великодушным! Я ведь сейчас на все согласна.

– И уморить ребенка, если я не распишусь с тобой.

– Вы хотите моего позора. Я не могу позволить себе то, что позволяют себе студентки или бабы.

– Ну они хотя бы детей своих не убивают из-за мужиков.

– Вы сейчас ведете себя со мной так, как я вела себя с вами. Мы поменялись местами. Но поймите, наконец, что мне нельзя делать аборт! Разве вы не видите, у меня гормональное лицо.

– Я в этом ничего не понимаю.

Она не должна его разжалобить. Он перестал слушать ее и сосчитал до шестидесяти. Руки дрожали, но какое-то необыкновенное ликование охватило его. Все чувства обострились. Он с жадностью вдыхал запахи улицы. Все ее звуки – шуршание автомобилей, перезвон трамваев, голоса людей – звучали в его ушах, как симфония. Его охватило возбуждение, какого он давно уже не испытывал.

– В конце концов, поставите в паспорте еще один штамп. Убудет от вас? Через полгода развелись бы.

– Нет.

И наступила долгая пауза, как глубокий вздох. Обезболивающая музыка деревьев и ветры провожала их до перекрестка. Он остался стоять у светофора, когда зажегся зеленый свет. Она ушла.

Она презирала его, тогда как жизнь диктовала свое.

Она никогда не будет ему рабыней. Стирать пеленки – в этом смысл жизни? Только в университете она чувствовала себя личностью. Аборт, даже если это убийство, разумный шаг. Не поздно ли? И почему этот негодяй раньше не показал ей зубы. Она бы рискнула. Ведь материнство – не более чем мистика. Впрочем, не для нее. В ней плод рос как болячка. Он доконает ее.

Но если замужество требует компромиссов – к черту замужество. У нее всегда есть возможность избавиться от ребенка: аборт, уморить голодом, оставить в роддоме или просто на улице.

Она сейчас не верила в Б-га и в то, что зародившийся в ней человек имел право на жизнь.

Спустя неделю, на Шавуот, Дима пришел в синагогу.

– Хаг-самеах! – приветствовал его друг Шломо. – Машромха, вус херцехс? А где Марина?

– Марина?

– Гверет яффа! Ты еще не сделал хупу?

– Я для нее стар.

– Эйндавар! Родит и будет как все.

– Ну-ну, мешарер, оставим это.

Так Дима в насмешку называл Шломо.

В этот вечер у амвона мужчин больше, чем в зале. Шавуот не популярен среди московских евреев. Дима слушал молитву, как слушают пение хора. Он так и не научился ивриту. Но это почему-то не мешало ему чувствовать праздник.

Уже заканчивалась служба и он направился к выходу, как вдруг едва не столкнулся с Мариной. Она почти бежала, словно она боялась опоздать на свидание. Их взгляды встретились – взгляды вспугнутых птиц. Он сошел лестницей на улицу и не знал – уйти или дождаться ее. У нее с кем-то свидание? Это он узнает, если останется на баскетбольной площадке, в темноте его не заметят.

«…2-го июня я уезжаю в экспедицию…» Но она здесь. Она обманывала?

Она вышла с толпой. Самая стройная и сиреневое платье красило ее. Шломо что-то рассказывал ей, но, пожалуй, она его не слышала и шаг ее сбивчивый – шаг разочарования. Ей не доставало чего-то. Когда она прошла мимо, Дима ощутил смутное чувство вины и неловкости, точно это он торопливо проходил мимо старого друга, который то ли обнищал, то ли болен. Нет-нет, она ему абсолютно безразлична, потому что у нее слишком много уважения к себе.

Все последующие дни в Москве, а затем в отпускной деревне (неперспективные деревни обернулись раем отпускников), шагая улицей или тропой, Дима оборачивался. Это вошло в привычку. Он, то и дело, прислушивался. Глупо: как-будто он мог различить стук ее каблуков или увидеть в заброшенной деревне Говядово. Дима с сыном поселились в квадратной избе с четырехскатной крышей, на коньке был укреплен громоотвод с шариком на конце. Они спали на полу с открытой настежь дверью и в сумерки, сверяемые зарницами разглядывали сетку, кишевшую наружи жужжанием и порхающими насекомыми.

Орали коты, ухали совы.

Жару сменили дожди, но это не мешало ловить рыбу или ходить в клуб, а потом кругами гулять с блондинкой. Она пахла цветущей липой. Было отчего потерять голову.

Его отпуск заканчивался в августе, а двадцать седьмого июля назначено бракосочетание с Мариной. Избавиться от этого свидания было бы просто. Он мог бы заявиться в ЗАГС, что не явится – и баста. Но, черт побери, с памятью невозможно разделаться как с надоевшей кассетой.

– Мы возвращаемся в Москву, – сказал он сыну.

– У меня каникулы и это не я, а ты женишься. Только зачем? Она не любит тебя.

– При чем здесь любит-не любит! А вдруг она ждет от меня

ребенка?

– От тебя?

– Да. Вдруг от меня?

Это, отец, ее проблемы, если она тебя не любит.

Руки сына покрыты загаром, а нос – веснушками.

– Ну что ж, – сказал Дима, – тогда оставайся.

На автовокзале он купил газету, и стал в общую очередь в ожидании рейса. В очереди он ничем не выделялся. Вся одежда у него была нарочито бесцветна, как бы защитной окраски.

И на кой ляд он уезжает из деревни в московское пекло?! Уж как Марина унижала, а ВТО – бросил все. Зачем?… Она вынашивала его ребенка, быть может.

– Быть может, повторял он про себя, глядя из автобуса на плящуюся за колесами пыль.

С автостанции Дима пересел на поезд и тот, как сбивчивая речь пьяницы, дотащил-таки пассажиров до перрона вокзала Москвы. Столица пахла пирожками и расплавленным асфальтом. К этому привыкают как к зубной боли. У себя в квартире он плюхнулся в ванну, горячая вода примиряла.

И вдруг прерывистый междугородний звонок. Он выпрыгнул на пол – в одной руке полотенце, в другой – телефон.

– Дима, здравствуйте, – тихий голос Марины. – Как ваши дела?

– Я в отпуске, а ты где?

– Я в Ташкенте. Дима, перенесите то наше мероприятие на август.

Он не ответил, и пауза становилась мучительной.

– Как ты себя чувствуешь? – спросил, сдерживаясь от лишних слов; тех слов, о которых потом сожалеют.

– Плохо. Ну все. До свидания.

И повесила трубку.

– Пока, – сказал он в уже отключенный телефон.

Он со злостью швырнул полотенце в ванну. Этот звонок возвратил его в одиночество, в бессонницу, в то удивительное одиночество – оно как день сопровождало его связь с Мариной.

Дима уверился, что никакой беременности не было, а просто она доила из Димы счастье, как только оно у него накапливалось.

И опять он был несчастлив как пустая корова.

Весь август и осень, вплоть до ноябрьских демонстраций Марина не давала о себе знать. А потом был звонок – осенний звонок из Тулы.

– Дмитрий Семенович, я мама Марины. Она сейчас между жизнью и смертью. Ни в чем я вас не виню, но вы можете понять мое состояние… Ей будут делать переливание крови… Вы знаете

группу и резус своей крови?

Он держал у виска трубку, а одиннадцать сотрудников смотрели на него.

Райполиклиника – больница – пункт переливания крови, прежде чем он получил справку.

В электричке он уснул, стоя в переполненном тамбуре. Ему приснилось: он бежит голый… сад… ребенок на руках… смерч…и возносились дома и деревья, животные и люди…

– Я в жизни хотела только одного: немного любви.

Ему нечего ответить.

– Я была уверена, что никогда не забеременею… поэтому я вела себя так легкомысленно.

– Как ты?

– Мне не хватает сил говорить. И желания.

– И желания?

– Желания жить.

Ее глаза пронзительней неба. Все ее существо сконцентрировалось в глазах.

– Хуже всего я веду себя со своими близкими… если это относится к нему, то почему он сидит, отчужденно скрестив руки, не наклонится и не возьмет ее руку в свою, как кладут тонущего в лодку.

Такое нетерпение

Сирень голосовала на ветвях за встречи, а дождь и дождевые черви – к урожаю. Майский вздох после снежного плена. Асфальт блестел, плыл и пузырился.

Сорокалетний Зяма брызгал лужами, размахивал зонтом – тогда вода сливалась Анне на плечи. Смеялся редкозубый очкарик, немолодой, котортконогий и болтливый.

Их познакомили Шадхунем и весна, музыка телефонных звонков и страх одиночества. Со слов Шадхунем – муж пьяница Анне осточертел, ну и Зяма лысел и передние зубы его раскорячивали годы, он спешил жениться второй раз. Забыл, что новые родственники – это новые враги. Но, видать, в нем не выветрился дух продолжателя рода.

Шадхунем обещала Анне «мужчину, на которого можно положиться». Нужен добытчик. Тогда спокойствие и сытость станут гостить в ее красивом теле. Зяма, уверяла Шадхунем, подходящая пара. А что – неправда?

Он пробегал десять тысяч за час, а она… Она делала из рыжих волос костер на голове и мужчины слетались бабочками на огонь.

– А мы, когда концерт давали в Прибалтике, а потом в Крыму…

– Ты поешь?

– Обычная ведущая агитколлектива.

– Разве они еще существуют?

– Мой друг сочинял песни.

– Почему в прошедшем времени?

– Завербовался на север. Вот завербуюсь и улечу.

У нее лицо и фигура испанской махи, хотя какая она маха? В ушах мелодия агитколлектива, в глазах полярная ночь. Это в такую слякоть. Трамваи Чертаново хвастались брызгами, пруд нерестился мелочью, из окон дразнились телепередачи. Но что сведенным до всего!

– Я бывал на Кольском, Камчатке, на острове Тюленьем. На Тюленьем…

– Тюлени. – подсказала, смеясь Анна.

– Их-то как раз нет, там размножаются морские котики.

– А вы читали Маркеса «Сто лет одиночества»?

– У меня самого этого одиночества на тысячу лет. Анечка…

Игрались майские праздники в разлуке.

Зяме она предпочла застолье родственников да и куда он денется. Все правильно. Он бегал по кругу и сочинял:

Не смею в телефон сказать
– Соскучился пойдем опять Замоскворечьем!
Там у сирени детству учатся
И –
Просторечью.

Она взяла стихи, как берут сдачу на рынке. Она сравнивала в профиль Зяму то с мужем, то с любовником и впадала в унынье. Но муж уже почти бывший, а гитарист еще далече. И только этот шлемазл в сбитых туфлях и двубортном костюме шагал и нес околесицу о Законе Моисеевом, о…

Алия-70 унесла товарищей его в Израиль, оставив ему потрепанную Тору и пару кассет еврейских песен, и одиночество. А между тем, жизнь одарила обновлением земли. Вновь календарь крутил июнь.

– Я тебя люблю, – признался Зяма в ночном вагоне, на коленях букет цветов.

– Я, к сожалению, сегодня не могу тебе этого сказать. Не дари мне цветы пожалуйста. Я тебе сама позвоню, хорошо?

Как там бывшая теща его называла? Он возвращался с этого свидания походкой бездомной собаки.

Неделю маялся – не писалось и не бегалось, пока не купил билеты в театр на Арбате и позвонил Анне. Она согласна!

Старую улицу перелицовывали стройбатовцы – мостили цветной брусчаткой, скоблили фасады пушкинских домов. Анна пришла в сиреневом платье, гримированная – издалека обалдеешь. Разлука смягчила ее – улыбнулась ему. И Зяма вдруг увидел, что тепло окончательно всполошило Москву зеленью, цветеньем.

– В театр приходят смотреться, а не смотреть, – шепнула она в зале. – Мы с дочерью, ей всего двенадцать. Представляешь, а мы как подруги.

Он с сыном тоже как братья. Но что из этого?

За этим следовало нетерпенье… И вот уже снова билеты в театр. На сей раз – подмосковный задрипанный клуб, игралась «Тумбалалайка», буфет торговал пирожками с мясом и треть партера оккупировали антисионистские комитетчики.

– Браво – кричали они сквозь вставные челюсти, а бедность и убожество улыбались со сцены. Влюбленный Зяма аплодировал судьбе, на Аню косились мужчины и глаза ее лучились, а румянец пробился сквозь слой пудры.

Слоноподобный танцор и сиплый хор на каком-то сюрреалистическом идиш вызывали слезы на глазах старух,

мужчины вскакивали под «браво»! И озирались друг на друга. И чудилось, что люди аплодировали не скоморохам, а господину Случаю, сведшему их – детей затерянных в России.

Чертаново встретило Анну и Зяму мраком ночного предгрозья, они остановились, как всегда, на полпути к шестнадцатиэтажной башне. Уже традиционная фраза.

– Дальше меня провожать не надо.

– Аня, – рука ее утонула в его ладони, – я сегодня хочу быть с тобой.

Она повела бровью и замотала головой. Ладонь его раскрылась и Анна отчалила, медленно поднимаясь к дому. Он одурачено потоптался, закурил. Перекликались трамваи. Сыпанул дождь, редкий, ненавязчивый. Анна крутит «динамо» или у нее под кроватью кто-то. А почему бы и нет?

Одиночество легло на плечо. Его окликнули.

– Найдется закурить?

Освещенное спичкой лицо портили неухоженность и усталость.

– Так и будем стоять? – спросила она.

И как давнишние знакомые, почти прогуливаясь приближались к дому, что напротив башни Анны.

– Ты не думай, я чистая, – сказала в прихожей она. – Я работаю в столовой! Червонец найдешь на бутылку?

Худая рыжая дворняжка вползла попискивая, будто кривлялась сучина.

– Во-во, ты с ней посиди, а я сбегаю к соседу.

Он сидел за кухонным столом, на нем оттаивали столовые ромштексы.

«Ты не думай, я чистая»… Какие ж тогда «грязные»: Э-э, пропади все пропадом, даже с самой проклятущей бабой он будет чувствовать себя лучше, потому что хуже нет одинокого или отвергнутого. Хуже нет.

Пришла, поставила бутылку водки.

– Брось котлеты на сковороду. Тебя как зовут?

– Зяма.

– Зя чего?

– Ма. Зя-ма.

– А я Лида. Ну, за знакомство, Зямай. Мы с тобой, наверное, одногодки. Тридцать пять? Ну, допивай. Иди сюда.

Поднялась, повела вглубь квартиры.

– Это комната сыночка.

Прибрано чисто.

– В колонии он, бедняжечка. У тебя есть дети?

– Есть.

– Только бы мне его дождаться. А это мой паспорт. Видишь, какая я была.

Лет десять назад она была еще очень хороша.

– Я из Орловской области. Там у нас все такие. А это мой губитель.

С фотографии улыбался черноусый кавказец.

– На стройке снюхались, бетон и грязь месили.

Ей стало тяжело и несчастливо.

– Ну, идем еще по стопке.

И она налила себе полстакана, выпила и тотчас отключилась.

В воскресенье Зяма с сыном рыбачили на Клязьме.

Один раз у Зямы сорвался лещ величиной с ладонь. А сколько было всплесков! Другой раз запуталась леска в траве. Шестнадцатилетний сын угрямо подсекал за двоих и к полудню корзина серебрилась чешуей. Уху варили мелочью, Зяма незаметно ухнул в кастрюлю ушицу из консервной банки. И все это под комариный писк и укусы.

Анна позвонила на другой день. Счастье бежало собакой впереди него. Он вошел в трехкомнатную квартиру, где паркет рассохся после первой ссоры. А ссора здесь была давно. И хлопать дверьми, видать, любили.

На спинке стула висел мужской костюм. Этот стул стоял в изголовье тахты. Когда Зяма голый и потный приподнимался над Анной, он встречал черный пиджак с оторванной пуговицей.

– Ты не рассердишься, если я тебе признаюсь? – рука ее липла к лысине его. – я ведь еще не разведенная. Алик вчера улетел в командировку.

– Он русский?

– Еврей. Он влюбился в меня, когда я с родителями после десятого класса отдыхала в Риге. Сначала родители познакомились с его мамой и папой, потом… И понимаешь, его старики дали деньги на этот кооператив.

– Все Алики алкалики, – скаламбурил Зяма.

– Он каплю не берет в рот, – серьезно ответила Анна.

– Значит была измена.

– Мне?

До чего ж она красивая издали и страшна вблизи. Как из гроба. Ярко крашенные губы на желтом-желтом лице. И отдалась она безучастно, будто хотела что-то вспомнить, но так и не вспомнила.

– Зяма, ты не джигит.

– А из-за чего у вас, ну…

– Влюбилась я, – мечтательно произнесла Анна, вздохнула и легко и счастливо рассмеялась.

Перевернулась на живот и долго-долго молчала, а потом обернулась и, глядя в глаза Зяме, сказала:

– В июле меня кладут в туберкулезную больницу. Саркандоз. Но ты не пугайся, саркандос – болезнь не заразная.

Они расстались – Аня даже поцеловала его. Она чувствовала себя счастливой.

А Зяма чувствовал зуд в грешном месте. И чем дальше, тем сильнее. Зря признался о трех тысячах – на тебе деньги мои, выкупи квартиру свою. Мог бы их сыну оставить. И потом в Торе сказано: не возлюби жену ближнего.

Так ведь она его обманула. Ну уж.

Он весь чешется. Ни хрена себе. Вот и доверься шадхунем. Все тело чешется. Или от Лиды со столовой, или от Ани. Любви захотел. Ну, фраер, стихоплет венерический. Если от Лиды, то уже заразил Аню. Или это Аня и грузин?

А если ни та, ни другая, то откуда в нем такое нетерпение?

Остров любви

Рейс на Сахалин перенесли с утра на послеполудня. Пассажиры – редкий случай – друг друга слушали. И любые домыслы – на ура.

– Я здесь со вчерашнего дня, – представился белобрысый парень – васильковые глаза, улыбка – «я мамочку люблю». Лом прозвал его Лева.

– Лева, – сказал Чернобельский тому, кого он назвал Ломом, а тот не расслышал или решил промолчать. Лева ушел в себя. Все на нем казалось с чужого плеча. Ну, разве взгляд его.

Накануне в полночь он вернулся домой из ГРОБа (проектный институт).

– Нинон, я улетаю на Сахалин.

– А ну, слезь с меня, гад.

– Долг жены перед разлукой…

– О, Боже! Я тебе не жена.

– Ну, впусти меня! Ты – мое солнце.

А спустя три часа он не без тайной радости бежал из Москвы. Обыски на квартире Воронеля – редактора самиздатовского журнала «Евреи в СССР»; конфискация материалов, кого угодно могли напугать, а там ведь был Левин рассказ.

Старый аэровокзал «Домодедово» задыхался от пассажиров. Большой СССР, а голову приложить некуда. За стойкой буфета толстуха со сбитой на ухо косынкой разливала чай, баранки разбрасывала.

– Надеялся в самолете завтракать, – сказал Лом.

– Придется забегаловку искать, – Лева развел руками.

– Искать так искать. Меня Андрей зовут.

Жаркий май 72-го. Солнце вдрызг разбилось одуванчиками в траве. Цветущая, пахнущая земля добивала аллергиков. Лева нагнулся и сорвал цветок. Пальцы тотчас пожелтели.

В столовой они устроились в углу.

– Из командировки? Еврей? – спросил Лом, доставая чекушку.

– С чего ты взял, что я еврей?

– Долбанного еврея за версту видать. Как тебе сказать – вы излучаете другое.

– Ну, ты гад, Лом. Чтоб вот так, сидя за одной бутылкой, назвать долбанным… Ну, ты гад.

– Ну, совершенно другие. Не в обиду.

Заканчивался отпуск у старлея Андрея. В памяти

спрессовалось несколько фраз, морская соль на губах и запах молодой женщины, которая отделилась от него и поплыла, пока не слилась с морем.

– Эй! – крикнул он ей, – акулы!

– Не-ет! – близко и громко откликнулась она.

На закате в последний раз они касались друг друга. Он улетал на север, она осталась в Семиизе. Он в желтых шортах и в желтой майке, она в коричневой теннисной юбке.

– Эй! – он взмахнул рукой.

– Не-ет! – ее ладонь прикрыла распухшие от поцелуев губы.

Прошлое каждого из них было сильнее прилива чувств. Прошлое хуже отравы.

– В кого ж ты такой? – спросил Лева, сидящего напротив него Андрея.

– Мама – рыжий, папа – рыжий, рыжий я и сам. Нет, ну, ты даешь. Ваш брат летит на Ближний Восток, а ты – на Дальний.

– Пока нашего брата прессуют в Москве. Мы приурочили симпозиум к визиту Никсона. «Евреи через 30 лет». И надо же именно сегодня я должен лететь на Сахалин.

– Ладно, не лупься, – Андрей выпил компот и налил в стакан водки.

– Представляешь, что будет в Союзе через 30 лет?

– То же самое. Ну, допивай компот и выпьем.

– Это все из-за визита Никсона.

– Дай-ка я принесу котлеты, – сказал Лом. – Тебе с вермишелью или картошкой?

– С мясом, – засмеялся Лева.

Лом вернулся с пышущими поджаристыми котлетами, жареной картошкой, а по краям квашеная капуста и соленые огурчики.

– За симпозиум? – улыбнулся Лом.

– Хороша девица, – подмигнул Лева вслед длинноногой официантке.

– Да по фигу.

– Ну, не скажи, – Лева по-совиному выпучил глаза.

– Ну, давай выпьем.

– Не-ет, не скажи, – улыбался Лева, – девочка – класс. Давай за женщин.

– Я после Семииза заговоренный. Не выходит из головы подруга.

– Что?

– Облом. Бабы липнут ко мне, а я…

– Клин выбивают клином. Официантка классная. Не хуже

твоей подруги. Познакомить?

– Нельзя.

– Ну, нельзя, так нельзя, – Лева поднялся из-за стола, – а пиво нам можно?

Через минуту он уже нес кружки пенистого и светлого пива.

– На Дерибасовской открылася пивная, там собиралася компания блатная… Андрей, ты даже не представляешь, какие люди у нас на Горке через час соберутся. Губермана знаешь?

– А Визбор будет? – спросил Лом.

– Визбор в кино, а эти в жизни. Галича знаешь?

– О, я песни Галича наизусть знаю. Галич там будет? Ну вы даете! Поехали за автографом!

Они молоды и бесшабашны.

На синагогальной Горке толпились женщины вокруг долговязого – будто вилка в профиль – седого физика Майя. У него за пазухой спрятаны доклады. Но где их зачитать? Дверной проем синагоги заслонил собой красный и потный раввин Фишман. Не приведи господи, эти евреи ринутся в синагогу. Его переполняли выпитое и съеденное.

«Горка» в плотном оцеплении КГБ, будто ожидали приезда Никсона с Брежневым. Но приехали Лева с Андреем.

– А ты почему не с Гришей? – остановила Леву Наташа Розенштейн, – его утром арестовали.

– А я утром уже в аэропорту был. Рейс отложили – вот мы и рванули сюда.

– Какого черта?

– За автографами докладчиков.

– Докладчики сидят.

– Где Галич? – спросил Лом.

– Галич с Гришей на «Матросской тишине», – ответила Наташа.

– Лом-облом, – Лева развел руками.

На «Горку» въехала серебристая малолитражка. Вышли Андрей Сахаров и американский корреспондент.

– Едем ко мне, – сказала Наташа, – Андрей Дмитриевич, приглашаем Вас на симпозиум. Зачитаем там доклады.

Толпа повалила вниз к метро. Кроме Левы, Андрея и раввина Фишмана.

– Господи, – взмолился раввин Фишман, – чтоб они все сгорели! Разве я за них деньги от власти имею? Я имею одни цурес из-за этих придурков, которые слетаются как мухи на гавно. О, нет, как пчелы на мед. Все хотят зла. Подполковник, где он?

Чертовы топтуны его ушли в толпу.

Старый Фишман – ветеран войны поражался храбрости жен арестованных отказников. Власть говорила им: не сметь! А они вышли на Горку, устроили перед синагогой митинг, – рассуждал Фишман, то и дело приподнимая шляпу и яростно царапая красную лысину.

В полдень по-пингвиньи, затылок в затылок, потянулись пассажиры на борт ТУ-154.

Самолет это остров в небе. Иногда спасительный.

В Сахалинрыбпроме Леву экипировали приборами для замеров течений. Рыбацкий костюм вручили на шхуне «Дозорный». Команда была в «дупель» пьяная.

Шхуна торчала в море как соринка в глазу – плохо было всем.

Тем временем в Москве развозили баланду по вытрезвителям: для участников симпозиума – картофельный отвар с хлебом и селедку с чаем.

Брежнев устроил прием в честь Никсона.

Под музыку Россини разносили ризотто по-милански с фаршированными сердцевинами артишоков пестиками шафрана. Только пестики, без тычинок. Никсон и Брежнев общались между тостами и блюдами.

На шхуне «Дозорный» мертвый час закончился лишь на рассвете.

За полчаса до того как посреди белой воды вдруг нарисовалась скала-остров.

«Верхнюю палубу» оккупировали кайры. На берегу в шахматном порядке сивучи, издали их легко спутать с белыми медведями. Выходили крошечные самки, обнюхивая самцов. О, этот медленный танец любви после столь долгого возвращения.

К острову устремились акулы – любители котиков. Подводная гряда в трехстах метрах от уреза воды защищала их. Акулы могли лишь кружить вокруг Тюленьего.

Это была западня для тюленей и для людей. И не на пятнадцать суток, как произошло с Левиными соратниками, а на полноценных девяносто дней.

Узкая тропа от барака, где жили люди, до столовой – деревянного вагончика. Десять шагов.

В свободе купались тюлени – молодняк. Весь урез черного берега занимали самцы, гаремы самочек, новорожденные детеныши. Молодняку ничего не оставалось, как куролесить между ними.

Они выпрыгивали из ледяного сала, пронзительно крича. Эти

крики сливались с тысячеголосым гоготом кайры – симфония весны и любви.

В ночи лунного прилива молодые котики подплывали к самкам, пели пронзительно, кружили в брачных всплесках. Самки, едва выйдя на берег, рожали черных щенят и тут же приглашали секачей и молодняк к играм и продолжению рода, и это было для молодняка сильнее страха перед зверозагоном.

На северном мысу, его-то и хотел увеличить министр рыбного хозяйства Ишков, находилась деревянная ограда с воротами, за которыми были сооружены площадка забоя и разделочные столы для сушки шкур.

На рассвете котиков будили крики зверобоев. Палки, трещотки, выкрики внушали ужас, гнали в загон. Вожак, тяжело бросал жирное тело вперед, упирался ластами в черный песок и с превеликим трудом подтягивал тушу, делая это в бешеном темпе. Еще мгновение назад каждый из котиков был опасен, мог за себя постоять. Но в бегущей толпе терял рассудок и волю.

За вожаком бежал гарем, затаптывая друг друга, и, прежде всего, детенышей.

В загоне вожак мог умереть от инфаркта, но не от людей, для которых рваные шкуры секачей не представляли интерес. Охота велась за молодыми самцами. Их убивали ударами палок по носу. Пена крови заливала морду, а глаза их вываливались из орбит. Веселых холостяков и подростков убивал остров любви. Несостоявшиеся женихи поднимались-скользили по деревянному пандусу мокрому от крови, слез, и воя, чтобы в последнее мгновение сквозь боль узнать материнскую любовь самок. Самки ластами, телом, криком своим защищали молодых котиков.

Эти сцены потом являлись зверобоям во снах. Одни становились импотентами и кончали жизнь самоубийством, другие – сами зверели. Начальник острова Марат Мануйлов не менялся: трезв, вежлив и влюблен в единственную женщину на острове – Ксению, русскую красавицу двадцати лет. И была на острове негласная договоренность: Ксения – ничья. Восемнадцать мужчин спустя три недели одиночества готовы были убить того, кто нарушит табу.

Чернобельский каждое утро на шлюпке замерял глубины течения вокруг острова, рисовал изобаты, но как увеличить его – не знал. Ну разве что затопить одну-две баржи… Но где их взять? То-то и оно. И – потом – вокруг скалистое дно.

Однажды, перед рассветом, когда море еще не проснулось, раздались русские женские голоса.

Хор невест России.

Рабочие в чем спали выскочили из барака. А ничего не видно, молоко пролилось на глаза.

Когда туман рассеялся, островитяне увидели белоснежную шхуну под японским и советским флагами. Из переговоров по рации выяснилось: двое ученых и переводчик прибыли на десять дней, а с ними ящики с саке и курами. Случился нерабочий день. К вечеру все было выпито и съедено. И тут пришла телефонограмма с Сахалина: «Какие такие японцы?! Как они могли высадиться на острове без таможенного досмотра?! Отправить их в Южно-Сахалинск!»

Утром следующего дня японцы поплелись в шлюпку. Вдруг матрос наклонился и зачерпнул горсть песка в бушлат.

– А ну высыпь, – сказал зверобой.

– Это наш остров, – ответил по-японски матрос.

– На Сахалине такой же песок, – усмехнулся переводчик, – на мысе Терпения, у Маяка.

– Слышал?! – обернулся Чернобельский к Мануйлову, – Марат!

Ксения стояла рядом с начальником острова и, смеясь, что-то нашептывала ему.

– Придет «Дозорный», доставит Матросова и тебя на «Маяк», – сказал Мануйлов, – заметь, сам напросился. Ксения, дашь им на дорогу хлеб.

– Картошку могу отварить.

– Спасибо, Ксения.

– Этим не отделаешься, – Мануйлов весело подмигнул, – черный песок привези, а если черная галька, то гальку. Да, Ксения?

Легко смотреть в серые глаза Ксении: ни короткая прическа, ни овал лица, во всем сквозила мальчиковость, – ничто не отвлекало твой взгляд. Это спасало ее от серийных насильников сначала в детдоме, потом в интернате и позже в кулинарном ПТУ. Когда нет родных и близких, выжить становится самоцелью. Это как большой спорт. Праздник всех униженных и оскорбленных похоже всегда с ней. Она думала, что не будет бояться, но судьба распорядилась по-другому. Это, когда завербовалась поварихой на этот чертов остров «Тюлений», одна среди тридцати мужчин. Вдруг стала желанной для всех.

Остров любви – это каждый из нас, тварь живая – это остров любви: кайра в небе, котик в океане, человек в дороге. Но вот они собрались вместе – явился ад.

Мануйлов влюбился в Ксению. Спасенье: работал – с ног валился. Если он старался ее избегать, то девушка искала встреч с ним.

На острове любви можно погибнуть, если ты любишь. Здесь на один квадратный метр смертей и любви было больше всего на свете. На лежбище котиков – этой коммуналки – в два-три слоя копошащихся тел – во время спаривания давили новорожденных. А те, кто выживал – возвращался через год на остров и становился добычей людей. Каждое утро поднимались на помост бойни те, кто был опьянен любовью.

Между тем, у одного из японцев пропали часы. Вечером лежали на подоконнике, а утром, как волна слизала. Но волны не было.

– Украсть никто не мог, – убеждал Мануйлов.

Часы обнаружили в рюкзаке молодого рабочего. Но Мануйлов приказал всей бригаде искать часы, а сам зарыл их в песок под окном японцев. Каково же было его удивление, когда они и там пропали.

На мыс Терпения зверобой Матросов и Чернобельский высадились с «Дозорного», за ними пообещали прийти через день.

– За час доберетесь до маяка, – сказал на прощание старпом «Дозорного».

Больше часа шли по зыбкому пляжу, по рассыпанной черной гальке. Порывистый ветер то и дело валил их с ног. Шаг за шагом они поднимались вверх от уреза воды, пока опять не вышли к воде. Берег озера они приняли за берег моря и теперь кружили до ночи в снегопаде.

– Давай ляжем и уснем до утра, – Лева сел на заснеженную гальку.

– Поднимайся. Замерзнем, – Матросов схватил Леву за ворот бушлата.

– Я устал.

– Я тоже устал, но спать нельзя.

Под утро они вышли на военную базу.

Поднялся переполох. Караул принял их за диверсантов.

Секреты базы, ну, разве что разведение свиней и коз. Ничем другим на базе не занимались.

По радиостанции Чернобельский связался с Мануйловым.

– Японец прав, галька подходит, присылайте баржу и белую краску.

– А краску зачем? – удивился Мануйлов.

– Чтобы движение гальки под водой отследить с самолета.

На маяке жена смотрителя их угощала пельменями с мясом

кайры – гадость из гадостей.

В июле на северном мысе острова Тюлений затопили баржу, отсыпали гальку. Несколько раз прилетал «кукурузник» и летчик докладывал о миграции «меченой» гальки. Через неделю она появилась у баржи, в ветреный солнечный день. В этот день японских ученых забрал их корабль. Опять пили сакэ, закусывали копчеными курами и расставались, как старые друзья.

В августе – разгар забоя «холостяков» – кончилась соль, а с ней и смысл промысла. Утренние набеги на лежбище прекратились, загон опустел, рабочие загорали и мечтали о доме. Долгими днями наблюдали за жизнью котиков, и может быть, впервые с удивлением обнаружили, как похожи семьи котиков на семьи людей. Так кончилось лето.

По ночам изморозь покрывала скалу и первые льдины стали окружать остров.

Мануйлов велел сворачивать промысел.

На рассвете «Дозорный» подошел с пограничным катером. Солдаты высадились зимовать, и это было страшнее мыса Терпения. Ледяное сало быстро заполонило остров и зверобоям нужно было торопиться.

В командире пограничников Чернобельский узнал рыжего лейтенанта, хотел было поздороваться, но тот и солдаты прошли в столовую.

Налетел снежный ураган, и зверобои с трудом грузились на «Дозорный», Матросов с Чернобельским забились в кают-компании. Все ждали Мануйлова и Ксению.

Шутки сменила злость, беспокойство и тревога.

Тем временем на острове разыгрывалась драма.

Пограничники заперли Ксению в подсобке кухни.

– Мы без нее не уйдем, – сказал Мануйлов, – под суд всех отдам.

– Я тебя, падла, пристрелю и зверью брошу на жратву, – бесноватый пограничник тыкал автоматом в Марата.

– Лейтенант, что ты молчишь?! – взвыл Марат.

– Мы бабу оставляем на зимовку, – оскалился другой солдат.

– Лейтенант, что ты молчишь!

– Если затянет льдами «Дозорный», – бледный как снег, выдавил из себя лейтенант, – вы будете зимовать с нами, а у меня для вас еды нет.

– Мы без Ксении не уйдем!

– Пристрелю падла! – закричал бесноватый, – ты ее поимел, теперь наша очередь!

Двух моряков на шлюпке отправили с «Дозорного» на остров.

Они вернулись перепуганные и ничего толком рассказать не могли.

– Слушай, – обратился старпом к Леве, – ты знаешь лейтенанта, поплыли со мной.

– Может, я ошибся.

Старпом усмехнулся, почувствовал: Лева боится.

– Значит так, – быстро и решительно сказал старпом, – ты мужик или нет?

– Я мужик.

Леве очень не хотелось встрять в передрягу. Ну, почему он такой везучий на приключения?!

– Тогда – за мной! – старпом поправил кобуру на поясе.

Только стрельбы не доставало. Лева жалостливо посмотрел на Матросова, но взгляд Володи был холоден.

Шлюпка возвращалась к острову по тихой воде.

Вот уже кого Мануйлов не ожидал так этого Чернобельского.

– А ты здесь зачем?

– Мы с лейтенантом в самолете…

Распахнулась дверь столовой, красномордый от выпитого пограничник направил автомат на островитян.

– Отваливайте или перестреляю!

– Я вас всех под суд отдам, – Мануйлов сжал пистолет.

– Отваливай, татарская морда, с этим очкастым жидом! – бесноватый пограничник лязгнул затвором автомата.

– Я брат лейтенанта вашего, – закричал Лева.

Бесноватый захлопнул дверь. И вовремя. Еще мгновение – и Мануйлов бы выстрелил.

Внезапно потемнело. Надвинулась туча и ослепительная молния вонзилась в море. Ухнуло снежным зарядом, да так густо расстреливало остров и море, что казалось, все закружилось в дьявольском танце.

– Закурить дайте, – попросил Мануйлов.

Лева достал пачку «Явы».

– Последнюю не беру.

Мануйлов обернулся к старпому, кричавшему по радиотелефону одно и то же: «Громче говори!»

– Что на катере? – спросил Мануйлов.

– Ледяное сало затягивает, ити их мать.

– Маневрируют пусть. Ждать, – приказал Мануйлов.

– Так сколько ждать-то?! – старпом расстегнул бушлат и стал нервно чесать волосатую грудь. – И катер погубим, и сами подохнем.

– Я сказал ждать. Ты-то, Лева, на хрена сюда приперся? Разве ты его брат?

– Вроде того, – пожал плечами Чернобельский.

– Так чего же ты его с самого начала не остановил?

– Когда?

– Да как только увидел!

– Он меня не узнал с такой бородой.

– Упустил!

– Да какая разница?

– Жопа! Разница большая. Остановил бы его тогда, а теперь они с Ксенией…

– Знакомый, брат – какая разница?

– Ну, раз нет разницы – иди к ним. Стучи в окно, брат.

– А, если они ему пулю в рыло? – старпом оторвался от телефона.

– С чего это он в брата стрелять будет? – Мануйлов подвел Леву к окну. – Стучи, кричи его имя.

– Андрей!

– Громче, твою мать! – Мануйлов свободной рукой прижал лицо Чернобельского к стеклу.

– Андрей!

За окном проплыло лицо лейтенанта. Лева замахал руками, ему показалось, что Лом узнал его.

Раздался выстрел. У Левы подкосились ноги, и Мануйлов отбросил его в сторону.

– Живой?

Чернобельский ни жив, ни мертв от страха.

– Это не в него, это там, – сообразил старпом.

Стреляли в столовой еще два или три раза. Наконец дверь распахнулась, пограничники вынесли истекающего кровью бесноватого. Лейтенант Андрей появился в дверном проеме, поддерживаемый Ксенией.

– Ну, кто тут мой брат? – спросил белый как луна Андрей.

– Так и есть, – старпом толкнул Леву навстречу лейтенанту.

– Брат? – Андрей смотрел на Чернобельского.

– Что? – у Левы пересохло во рту.

– А разве не так ты меня назвал? – удивился лейтенант.

Лева никак не мог вспомнить, когда это он назвал его братом, но молчать становилось опасно, и он сказал.

– Брат.

– А она сестра что ль нам? – Андрей повернул лицо к Ксении.

Синие глаза Ксении были в слезах.

– Но, если мы все на одном острове, – сказал Лева.

Опять сверкнула молния, и под грохот грома все вдруг рассмеялись. Они даже не расслышали его.

Спустя четверть часа люди оттолкнули лодку от берега

«Острова любви» и быстро скрылись во тьме.

Любовь Господня

Декабрь Шнеерсона на Днепре. Снег ложился на мокрую землю. Надолго. Запотели окна автобуса. Увеличилось расстояние между его ладонями головой девятилетнего сына.

Декабрь снега воронье вранье. Однако.

Десять лет умерли, десять лет родились новых. Как Муня летал за колбасой в Москву. Борода поседела, шляпа выцвела, и Союз распался.

То-то и оно.

Долгий авиарейс мог прерваться в Токио, где вместо урн торчали компьютеры. Его двенадцатилетняя дочь вошла в Интернет и прочла на Lenta.ru.

«Австралия – концлагерь. Детей продают в рабство, а девушек – в бордель».

Шнеерсон сделал глаза.

– Мне, – сказала дочь, – двенадцать. Куда меня отправят?

– Но ты еще не девушка на работу.

Такие дела.

Седая борода и широкополая шляпа оттеняли взгляд Шнеерсона. Летим в концлагерь, а там пусть будет то, что будет. В самолете Аэрофлота дочь хваталась за рвотный пакет, будто ей все еще стыдно за Австралию.

Над Мельбурном самолет шмякнулся об полосу аэродрома. Благословен, кто съестное упрятал в желудки. Таможня и овчарки тут как тут. Толпились полуголые австралы, встречающие не Шнеерсона. Он сдвинул шляпу набекрень.

– Привет!

Курчавый и загорелый сын размахивал руками и бежал навстречу. Вот теперь они по-настоящему приземлились.

– Ты успеешь на зажигание ханукии! – сказал Андрей.

– Да? – удивился Шнеерсон, – а что это такое?

В «Тойоте» они пересекали безразмерную деревню, омытую океаном и рекламными огнями. Для концлагеря это очень красиво.

Мельбурн не шире буханки хлеба; остальное пригород и Балаклава. На Балаклаве живут евреи. Любой русский на Балаклаве – еврей, как и любой еврей в Австралии – русский.

На Балаклаве девочки танцуют, на Балаклаве водку с пивом пьют. А по краям «хрущевки». Открываешь: шаг вправо – на кухне, влево – на кровать. Вещи здесь раскладывают по плоскостям и постоянно борются с бардаком.

Вечерами слышно как шумят машины на трассе, проходящей

неподалеку.

– Австралы живут в домах, – сказал Андрей, – в квартирах эмигранты; русские оккупировали коммуналки, подслушивают друг друга и сплетничают.

– Ты австрал?

– Да, – сказал Андрей, – я купил дом у болота. К нам залетают попугаи, иногда даже соседские сараи.

– Это такие сараи или ветер?

– Знаешь, здесь устроиться на работу – все равно, что второй раз жениться. От этого хочется удавиться.

Балаклава встретила ханукией – ободранной елкой. Набегало детство: магазинчики, бублики, шпроты; брюки-клеш, авоськи с колбасой. Обувь ноги жмет. Коровье бешенство – холидей для Балаклавы.

Напротив ресторана «Кошер – бекицер» белело выкрашенное здание синагоги. У калитки на табуретке иконой стоял фоторобот Любавического ребе, блестела медная кружка цдаки.

– Иди, папа. Мы тебя здесь подождем.

– А почему я? – Он сдвинул шляпу на затылок.

– Потому что они тебя ждут.

– Но они меня не знают.

– Поэтому и ждут.

– Да иди уже, – сказала Аня. – Я хочу спать.

Бедняжку укачало в самолете.

Шнеерсон вышел из машины, его встретил рекламный шит «Машиах нау ин вей!». Луна играла оркестровым барабаном; три звезды, взволнованные лица ветеранов.

– Мы из Одессы.

– Мы из Одессы 20 лет назад.

Подошли евреи в лапсердаках, шляпах и пейсах.

Между тем, раввин Горелик мучался животом в туалете и когда вышел во двор, ханукия уже горела.

– Зажег кто? – громко спросил Горелик, неприятно ощущая мокрые руки после туалета.

– Вон тот с бородой в шляпе, – ответила толпа.

– Кто?

Раввин Горелик взглянул на Муню, на фоторобота, что у кружки цдаки и его затрясло как во время Амиды.

У кого были черные сюртуки и лисьи шапки, те толкались в сюртуках и шапках; у кого черные панталоны до колен и белые гольфы, те напирали в панталонах и гольфах. Сзади наскакивал молодняк с пейсами завитыми в спиральки да в косички заплетенными. Ханукия горела. Горелика трясло, а русский народ разливал вино в стаканы и занюхивал Халой, как это они делали

в СССР.

– First Moshiach Congress, – сказал раввин.

В соседней церкви ударили в колокола. Танцевала Балаклава на тротуарах, трамвайных рельсах.

Машиах! Машиах! Машиах!

– Идите в синагогу! – зазывал габай Хаим.

Но они танцевали и пели. Они-таки и здесь, на краю свету, сделали свое еврейское гетто и танцевали. А что за жизнь без гетто? То-то и оно. Срывалась служба.

– Гони их в синагогу! – кричал Горелик.

Но Хаим бессилен. Он прижал Муню к фотороботу.

– Папа твой откуда родом?

*… Перед Муней отчим Гриша. …Гриша отсидел семнадцать лет в Магадане, но после смерти Сталина носил сталинский френч, галифе с сапогами, отпустил усы, курил вонючие папиросы и повторял ужимки вождя вплоть до «Расстрелять всех к е***ей матери». Но сейчас здесь на Балаклаве Муня вдруг рассмеялся и пожал плечами.*

– Мамзер, – доложил Габай раввину.

Горелик залпом выпил стакан вина. Срывалась служба.

– Мамзеры они смышленые, – сказал Хаим, наполняя вином стакан Горелика. – По его наглости видно, что он мамзер.

– Будь осторожен, – сказал раввин. – У нас не доказательств.

Между тем, в «Кошер бекицер» пришли люди с кладбища, с другой стороны приехал свадебный кортеж. При входе в ресторан они смешались.

– Ну, тащи его в «Бекицер», пусть он поддаст, как следует, мы проверим его, – сказал Горелик, – как он в воде не тонет и в огне не горит.

Хозяйка ресторана Лена управляла им с тех пор, как ее бросил муж, не развелся с ней, но сгинул.

– Этот парень говорит, что он Шнеерсон, – сказал Габай, – самозванец и мамзер.

Царица Лена встретилась с голодным взглядом Муни и покраснела. Позови он ее сейчас на небеса или куда еще, пошла бы.

Человек в шапке со своим стаканом остановился перед Шнеерсоном.

– Я шью шапки-ушанки. Дай мне благословение.

Муня сделал глаза.

Представил себя портняжкой… Он несет коробку из-под телевизора, набитую шапками… А пешком здесь ходят только проститутки… И вот несет он коробку и догоняет его «тойота» с шашечками, как таки… Полицейский приоткрыл окно… «Сэр,

коробку медленно опустить»… А Муня принял его за таксиста… «Давай, давай! Я пешком дойду»… и рукой показывает, мол, проваливай, милый… Полицейский смотрит на Муню… Муня на полицейского… У полицейского два дома, жена, дети, одиночество, Интернет, русская любовница, адвокат, Тихий океан, Красная пустыня, австралийский футбольчик foote…Короче говоря, он молчаливый недалекий и практичный… а рядом шел бесстрашный Муня…

– Благословляю, – улыбнулся Шнеерсон.

– Ну, это уж слишком, – сказал Горелик.

– Надо выпить, – предложил габай.

– Э, – сказал Хаим, – Мы бы такие бабки сделали! Но лгал ты!

Хозяйка Лена выставила «Абсолют». И сказал Шнеерсон:

– Вот сбылось: «И когда жажду я, поят меня уксусом».

– А вот раввин отлучит тебя от синагоги, объявит херем, анафему и тебя как бы не будет.

– Господи, – сказал Муня, – спаси душу мою от пса этого. Сказал мне отец, чтобы не мстил я.

За окном «Кошер бекицер» толпа пела, и плач этот был слышен издалека. Народное восстание ради освобождения Шнеерсона.

Горелик отпил, Муня пил до дна.

– Если ты Шнеерсон, – усмехнулся габай Хаим, – выпей еще стаканчик.

– А то, – сказал Муня, – наливай. – Спину свою я отдал побивающим и щеки свои – вырывающим волосы. Я прощаю им все грехи. И с любовью принимаю я страдания.

Они ничего не могли сделать с Муней. По стаканам он победил.

Горелик поднял чугунную голову и оловянным взглядом обвел прихожан. Те, кто пришел с похорон, почему-то сидели за свадебным столом, а гости новобрачных оплакивали покойника. Все смешалось на Балаклаве. Горелик с горя процитировал Талмуд: «И ветер понес его, и пошел он по морской воде». Почему именно это? А что с пьяного возьмешь. Но Хаим это понял как команду.

– Я его в микве замочу, – шепнул он Горелику.

О, мелодия хануки. Недоставало утонуть с цицит и в лапсердаке, простудиться на ветру, лежать на траве – ногами к церкви, к синагоге головой, а звезды вокруг луны, словно дети вокруг стола: латкес!.. ханука – гелт!

Каждому нужно счастье и каждому нужен дом.

– Мазлтов, – целовали жениха могильщики.

Вино и курица будто испарились. Понятно, с кладбища всегда

волчий аппетит. Невеста со слезами на глазах картинно улыбалась.

А за столом хевра-кадиш, откуда счастье молча ушло, совсем теперь не нужны ни талмуд, ни брюки.

В «Кошер бекицер» мало кто думал о Машиахе. Здесь не рыдали, травили анекдоты; не рвали ворот на вые, пили водку стаканами, не чокаясь; и не выли как глухонемые. Короче, они не любили ребе. Они глотали водку, грызли чеснок и кричали друг на друга, не оставляя шансов Машиаху.

– Машиах! Машиах! Машиах! – кричал за окном молодняк пейсатый.

Шнеерсон надвинул шляпу на брови и вышел. Толпа увидела его с бутылкой «Абсолют» и закружилась «хора» с новой силой. Такая вращающаяся тюрьма. Стали забрасывать его улыбками и приветствиями. Сын вошел в круг и вывел его, как из тьмы выводят.

– Нас ждут.

– Пока, – сказал Шнеерсон толпе.

С габайской помощью его впихнули в «Тойоту».

– Туды его мать. – Хаим с чувством захлопнул дверь.

– Приперся! – проснулась Аня, – Ты что там нажрался?

– Разве ты еще не в борделе? – удивился Муня. – Куда смотрят власти?

И вот то самое болото, где дом Андрея и Юли. Им подарили паука на перекладине, ворот, ветер, высокую пальму и старинный стол под компьютер. Гавань странствующей души.

Муня прислонился к дверному косяку, он ловил в далеком отголоске, что игралось на его веку. Игра на этот раз расписана на роли невесты, жениха и Муни. Одним словом…

Юля истомленная в джинсах.

– Папа сделает нам хупу, – сказала Юля.

Ну, прямо, ой, ой, ой…

Вот те на.

Она созрела к материнству.

Ну, прямо, вот те на!

– Ну, вообще, – сказала Аня, – обожаю хупы.

– Не стучи вилкой по зубам, – приказал Муня.

– От пьяного слышу, – сказал Аня.

– Прикольно, да? Я пьяный. А ты мне наливала, кенгуру?

– Они под забором, – засмеялась Юля, – И похожи на папочку.

– Юля, не обижай кенгуру, – сказала Аня.

– Что у кенгуру на ужин? – Муня постучал пятками об пол.

Раньше Муня занимался любовью, а теперь – ерундой. А все потому, что историю делают те, кому больше делать нечего.

Поиск еды в холодильнике, окна в лягушках и мошкаре, что-то вроде пиццы по-австралийски. Остается одно – вода со льдом и секс. Но секс не для Ани и не для Муни. Для Муни исповедь детей.

– Ну, колись!

– Сдал квартиру на выкуп, а сама сюда. Эту сдадим, в новый дом переедем. Это бизнес.

– А бабки откуда?

– Из банка.

– Стрельно.

– Буду милиционером.

– Такое доверие. – Ахнул Муня.

Он гордился, еще не зная, чем.

Жизнь в Мельбурне была такой же беспричинной, как и везде.

Судьба эмигрантов праведна иностранна, если не уголовна и если не абсурдна, то полна смысла.

Три года Андрей и Юля жили учебой и работой, экскурсиями по материку – с гор на лыжах, на яхте по океану. Но не было детей. Это сделало их сентиментальными. И вот они решили сделать хупу, надеясь на любовь Господню.

Хупа разыгрывалась у пирса «Devel Cat». По пляжу катались на велосипедах полицейские, одетые в шорты и шлемы.

На мелководье в запахах морской травы резвились чайки и дети, которых еще не продали в рабство. В небе кувыркались парашютисты – иногда скользили по волне.

Ну что еще? Вода и песок. В песке купались воробьи.

А над всеми, на синем небе реактивный самолет написал “froggy com. au”. И это было лягушачье благословение тем, кто бракосочетался на пляже.

Мельбурн раскалялся, и улицы перекликались светофорами на перекрестках. Им вторили летающие попугаи. Австралия – страна свободных попугаев.

Итак, пустыня дохнула перегаром и заповедь «плодись и размножайся» запустилась. Любовь и тайная страсть Балаклавы.

Шнеерсон в черном костюме и черной шляпе был узнаваем, собрал толпу полуголых австралов, участников заплыва в океан на яхтах.

Четверо из них подняли талит над головами Андрея и Юли. И в это время кубарем скатился с горячей дюны габай Хаим, будто безумный король с высокой кровати; короче, пробный шар.

– Не-е так! Не-е то!

Песчаная голова с рыбьими глазами.

Маленький, тонконогий с хазарской бородой. У него и живота не было, то есть силы мужицкой.

Но четверо бугаев с лицами, что спереди, что сзади, держали хупу над женихом и невестой. Андрей надел кольцо на указательный палец невесты.

– Будь мне женой по Закону Моисея…

Все. Хаим рухнул на песок, потому, что Шнеерсон начал зачитывать Кетубу.

– Вы хотите ребенка? – спросил Муня.

– Да, – ответил Андрей.

Невеста, которую в свое время не отдали в бордель, теперь отдавали замуж по Закону Моисея.

Такие вот плюхи от бляхи.

У пирса болталась яхта, взятая напрокат. Она не уступала городской квартире – с той разницей, что ее не затопит сверху. Занавески на иллюминаторах, но в океане врядли кто заглянет им в окна!

Что до Муи и Ани, то их сдали на сохранение Юлиной подруге Ольге.

– Ныряйте под волну, – инструктировала Ольга Муню. Но он не успвал, волна захлестывала его, срывала трусы и он сверкая незагорелой задницей гонялся за ними.

Это похоже, как он голый бросался на сугробы… в такой же декабрь… но на Камчатке и те же сорок градусов, но минус… встречал с геологами Новый год.

Выпили все и все переломали в избе. А в полночь парами бежали в яму-кипяток со снегом.

Шнеерсон и рыжий Макшрейдер оказались последними. Бултых. На снегу повалялись, бултых опять. На снегу как на электроплитке. Та к они ныряли и катались по снегу и вдруг все исчезло, кроме сугробов. И побежали они туда-сюда на четвереньках. Замолились – заплакали. Увидели окно. Окно 31 декабря на Паратунке в полночь.

– Кто там? – раздался голос.

– Свои, – взмолились голые.

То была, воистину, любовь Господня.

Аню переполняло счастье особенно во время лунного прилива.

– Это край ангелов, – сказала Ольга. – Смотрите, какие отчетливые и глубокие наши следы, но волна их накроет и ничего не найдешь, никаких следов, ни малейших отметин. Тебя уже нет, но это место здесь. Как будто жизнь не мнимая, но и не настоящая.

– Вы говорите о времени, – сказал Шнеерсон. – Идеальное убежище. День, неделя… еще и еще… и каждый исчезает в своей могиле… Но пока звенят бутылки и веселье…

Разгонистым почерком бежала Аня по урезу воды.

– У океана голос дикаря, а в бухте он домашний.

Они слушали крики птиц и разбивающихся о берег волн. Молчание стремительно сближало Муню и Ольгу. Казалось, что небо, песок и воды ловили звуки нарождающегося чувства между ними.

Тем временем, яхта вышла из бухты. Штиль распластался до заката. Но даже штиль таит смертельную опасность. Ты наг перед заповедями Господними.

* * *

Андрей осязал лицо Юли, губы, играющие его пальцами, ее дыхание.

Они разделись. Их тела были легки и любимы. Над ним ее лицо; в его ладонях заколыхалась ее грудь. Друг в друге они находили приют и заново учились любить. Он проникал в нее, будто лучи заката проникали.

Они шептали имена друг друга или это говорил ангел, кому суждено родиться. Вот наконец и свершится то, к чему она предназначена.

Заря застала их спящими, и долго-долго в это утро они попеременно впадали в забытье, а, проснувшись, были похожи на штиль. Они еще не обнаружили друг в друге перемены. Они сидели бок о бок, перед ними лишь океан как большая дорога.

Господи, какое счастье! Они живы, они вместе!

– Ты рада?

– Я всегда об этом мечтала.

На Балаклаве в пятницу в церкви, что рядом с синагогой, библиотекарь Ольга и Муня листали Библию. И видела Ольга в Муне то, что он в себе не замечал, а ему наплевать на разницу в тридцать лет. Они легли под рояль, и от ее вскриков в ушах звенело колоколами.

На закате зажгли семь ханукальных свечей, в синагоге – две субботних. Раввин Горелик в третий раз пробормотал каддиш, когда явился помятый Муня. Хаим выгрузил бутылки на стол. Муня смотрел, как вываливались из черного мешка булки и вдруг увидел Днепродзержинск своей молодости…

У горсовета сошлись мужчины легкие от голода и страха. Погрузили всех в автобус, куда-зачем никто не знал… Привезли за город в поле… Оказалось – три американских хасида уговорили секретаря горсовета собрать миньян для Каббалат Шаббат… «Выйди друг мой навстречу невесте (субботе)…» Как сотни лет

назад… Обратно шли пешком, как положено в субботу…

– Чудо где? – спросил габай Шнеерсона.

– Зачем?!

– Господи, мы бы столько денег собрали. Но лгал ты, и все твои деяния – ложь, – брюзжал габай.

– Господи! Спаси от этого пса!

И опостылела Муне жизнь, и захотел он умереть. А Хаим плевал ему в лицо. И вдруг Шнеерсон воскликнул:

– Идемте встречать субботу на океан!

– Вы куда?! – ошалел Хаим.

– Машиах! Машиах! Машиах!

Толпа повалила за Муней из душной синагоги к океану.

– Поражаюсь! Детский сад какой-то! Ошалел Хаим.

– Детский сад, – повторил раввин Горелик.

И слезы брызнули из глаз.

Евреи разувались и скатывались с дюн к воде. После долгого дня.

Последний день Хануки выпал на субботу. За Шнеерсоном пришла вся Балаклава. У кого пейсы были в вине, тот сосал пейсы, а у кого не было, тот сосал… ничего.

– Машиах! Машиах! Машиах!

– Папа, иди. Они траву вытопчут.

У болота выпили за здоровье новобрачных, у Макдоналдса – за упокой души, а в зоопарке – выпили за новорожденных.

Короче, в синагогу Муня вошел на бровях. То есть его втащили.

– Давайте выпьем за германо-еврейскую дружбу! – воскликнул он. – Зол зей бренен.

– Магазин закрыт.

– А почему в субботу закрыли магазин?! – закричал Шнеерсон.

– Потому что праздник.

– Но в праздник человеку нужно выпить!

– Закрыто!

– Хотите выпить, так сломайте дверь, – велел Муня.

– Он призывает разрушить синагогу! – прибежал Хаим к Горелику.

– Герасим, замочи Муму…

Герасим – Хаим выбежал на улицу и снял трех бугаев.

– К кому я подойду и поклонюсь, замочите в микве.

Молящиеся пели «Гевейну шолом алейхем…»

И потащили Шнеерсона к лестнице, ведущей вниз. Внезапно и на виду у всех. Но это была не шутка. Он крикнул о помощи – напрасно.

Он запел:

Хасиды на вокзале
Машиаха встречали,
Курили сигареты,
Ходили взад-вперед.

И пиво бочковое
С рекордной быстротою
Им разливала Ривва
В нагрузку с чешуей.

И вот подходит поезд
«Деревня Пятихатки»,
И сходит дядя Муня
Менахем Шнеерсон.

Никем не замечаем,
Он сел на край скамейки
И корочку от сыра
Зажал в сухой горсти.

А после он и эти
(Их сумки, жены, дети)
Разъедутся по миру
Машиаха встречать.

В микве поэту дали поддых, в зубальник. Душили ногой на горло, коленкой в пах. Удар! И столкнули в воду. Она окрасилась кровью.

Он задыхался… распластанные руки… безвольное тело… пузыри воздуха…

Терпела бедствие яхта «Devil Cat». Волна перевернула ее у острова Тасмания. Остров Тасмания то наплывал, то тонул в волнах. Земля исчезла в белесом дрожащем мареве, стеклянном свете, сочащемся через стену морской водной пыли от волн, колотящихся о камни.

Ветер и дождь смешались с волнами океана.

Земля тонула в пене прибоя. Земля, вселяющая безумие.

Андрей протянул Юле руку.

Глаз Божий глядел на людей.

Под шляпой кролик

За долгой осенью москвичи прозевали зиму.

Ливневый снег.
Полночь.
Дорожные фонари
В никуда.
Старушки молятся смартфонами, студенты – планшетками.

Менаэлю в самый раз жестянка Nokia. Маленький лысый летел он, как шаровая молния, из Иерусалима в Москву – сделать «обрезание Еврейской Конторе».

Я им устрою БРИТ. – В глазах Менаэля сверкнула искра.

Курчавый молодой и ранний Михаэль привез шефа из Шереметьево в бывший «детский сад», переоборудованный в ближневосточный бункер с колючей проволокой и сторожевыми вышками.

Но враг был внутри. Начальники отделов топтались в коридоре, разгадывая внезапный визит маленького большого начальника из Иерусалима.

– Дети вас не штурмуют? – Менаэль болтал ножками под столом: он презирал этих бездельников. – Вы так отгородились от евреев, кто к вам прорвется? Вы забыли для чего здесь. Ребе, как с кошерной едой? – улыбнулся Вадбкнеру похожему на кролика в шляпе.

– Не сомневайтесь.

– Кто б сомневался, дорогой. Но где молодежь?

– Смешанные браки. – развел руками Фалькнер.

– Мы не в хасидской синагоге! – Менаэль хлопнул себя по лысине. – Хотите кошер в Москве, везите молодежь в Израиль. Правильно, Михаэль?

Теперь он в упор расстреливал идишиста. Вэлва, который сцепил руки, чтобы промолчать. Иногда молчание громче слов.

– Ну вот и все для знакомства. – Менаэль отпустил начальников. – А ты, Михаэль, останься.

Крошечный душный кабинет враз опустел, будто раздвинулся.

– В шахматы играешь?

Львенок замотал гривой.

Пауза – тягомотина.

Менаэль широко, заразительно зевнул, раскинул руки и ножки под столом.

– Ладно, переходим в эндшпиль. – Включал, выключал

настольную лампу, включал, выключал. – Ты воевал в Ливане. Здесь твои однополчане. Кто?

– Фалькнер и Грабли.

– Это позывной?

– Фамилия.

– Еврей?

– По дедушке. Он в Ливане был контужен.

– Здесь все контуженные.

Менаэль откинулся на спинку огромного черного кресла и Михаэлю показалось, что партия окончена. Но нет, он вновь включил настольную лампу.

– Фонд богатейший в России. Какие отношения у тебя с ними?

– Они сами по себе, мы сами по себе.

– То-то и оно. Вы сами, они сами, евреи сами. И где они? Как их найти, как их собрать?

– Лагеря, семинары… – Михаэль тер глаза, так спать хотелось. – В России евреев представляют проходимцы и самозванцы… бывшие шухер – махер…Покупают должность «президента» и наровят украсть больше, чем дают.

– Да, знамо дело. У кого вы арендуете этот трехэтажный блиндаж с подвалом?

– У Боруховича за двадцать тысяч баксов.

– Он его купил?

– Он получил от Лужкова в аренду.

– Получил в аренду, а теперь сдает за бабки. Лужков не вечен, и если Борухович во время не смоется в Израиль, его возьмут за жопу, а нас – на мороз.

– Заступятся раввины, – усмехнулся Михаэль, – если, конечно, еще останутся в России.

– А где евреи? Хасиды божатся: их в Москве, как икры в брюхе щуки. Но где они? Евреев нет, а Сохнут зачем? Сохнут не инкубатор. Евреев нет, а еврейские деньги есть. Но деньги – тоже алия! – Менаэль хлопнул себя по лысине.

– Зеленая алия. – Михаэль запустил руку в курчавую шевелюру…

– Ты мог бы стать рулевым «зеленой алии». Кто там рулит?

– Исполнительный вице-президент местный парень.

– А надо, чтобы наш человек рулил, – рот Менаэля наполнился слюной. – Сочиняй проекты для Израиля: семинары, лагеря-шмагиря, да что угодно, но для Израиля. Местные евреи перечислят деньги, тогда получат крышу. А здесь неспокойно будет еще долго. Они тут ни от чего не застрахованы. А мы им

дадим связи израильского истеблишмента, станут членами Общества друзей университетов, вип-клиентами наших банков! С гарантией! Еврейский Фонд рассмотрит твою кандитатуру на вице-президента. Ну? Только не дергайся, не проявляй инициативы, все под моим контролем будет.

Опа, какие перемены, однако. – Вдруг осознал Михаэль, зеленая река за поворотом…

Осталось только проглотить слюну.

Москва для Михаэля открылась стороной нескончаемых обжираловок и пьянок, а что еще богатые евреи могут делать? То-то и оно.

Стихи на идише Михаэль сочинять забросил. Он чувствовал себя начальником, когда плакали в жилетку бывшие сослуживцы, которых Менаэль лишал зарплаты; они отчаянно искали в Москве зацепку – не уезжать обратно.

Авцелухес.

О, этот плач Михаэля будоражил, будил фантазию и однажды, когда подписывал бюджет Храма памяти – Мемориальной синагоги на Поклонной горе, – он этот бюджет прикинул на троих: он, Фалькнер и Грабля. Получалось круто. Шестьдесят тысяч баксов на троих…

– А нам что делать? – спросил Грабля.

– Взять синагогу! – рыжебородый Фалькнер загорелся и стал похож на горящий куст еживики – горел и не сгорал. Он не хотел возвращаться в Израиль к опостылевшей жене и детям. И что там делать? Нет, только не в Израиль!

– Хоть синагога и не баба, а приятно, – потирал руки Грабля.

Главное, обратно не отправят.

Через неделю одели Граблю в лапсердак и шляпу.

Синагога показалась дотом на Ливанской войне.

Тяжелая дверь распахнулась и он вошел внутрь.

– Теперь я главный здесь, – заявил он генералам, сунул им под нос приказ Михаэля вице-президента с печатью Фонда.

Директор Храма памяти генерал юстиции в отставке Бронер тоже вице-президент, но без печати. Его заместитель генерал КГБ в отставке Колода. Обоим воякам за семьдесят и росточка они были небольшого. Грабля казался боевым слоном в черном лапсердаке, шляпе, пейсах, бороде. Они должны были тут же сдаться.

– Мы не знаем.

– А я вас не спрашиваю. Выгоню всех к чертовой матери.

В атаку на кабинет раввина, где Зюня бывал – пятница, суббота, праздники.

Грабля, как граблями, все со стола смел, а заодно и фотографии со стены.

– Кабинет взят, – доложил Михаэлю. – Теперь я главный здесь.

Зима в России сокращала время, а заодно и жизнь. Любимая забава совместить юбилей с поминками. И выпил с гордостью и зависть схоронил. Нормально.

В рождественские морозы свой юбилей решил отпраздновать банк «Совок» в синагоге – арендовать субботу, воскресенье, понедельник.

В субботу утром, на шахарит, через распахнутые настежь двери рабочие выносили на снег кресла, обернутые в целлофан, будто гробы, другие – сгружали бетонные блоки, металлоконструкции, прожектора, мангалы, железные печи, звуковую аппаратуру, столы, ящики с вином, посуду…

Нешуточный будет банкет банка семьи друзей Фонда.

Замерзшие прихожане, среди них был пятилетний Акивушка с отцом, переминались на снегу… И вдруг Зюня вспомнил, как в бытность строителя сдавали госкомиссии бетонные Холодильники. И обязательно в трескучие морозы – ворота нараспашку, чтоб сдать наверняка.

– Нам где молиться? – спросил Зюня.

– В музее под землей, этаж минус один, – подмигнул Грабля.

Евреи спускались под землю – в руках сидуры, свиток Торы, будто в гетто времен Холокоста, в подземном музее, под стеклом, детские истоптанные ботинки, тряпичные куклы, семейные фото, аттестат зрелости 41-го года…

Во весь рост стоял босой манекен, в арестантской полосатой робе смертника Освенцима или Бухенвальда, или Минска, или Варшавы, так похожий на этих молящихся, кто шептал сейчас «Шма Исроэль», как повторяли эти слова и семьдесят лет назад, и тысячу лет…

В воскресенье снег в лучах прожекторов превратился в россыпи алмазов, а Храм памяти – Мемориальная синагога – в сказочный барский дворец, а выходящие из авто банкиры, шумные артисты и тихие хозяева магазинов и ресторанов… в бомонд…

Витали запахи бараньих, осетровых и мясных шашлыков, горячего вина…

А в самом молитвенном зале гремел бал…

Вокруг одиноко кружил местный парень в черном пальто и

широкополой шляпе с русским именем Тимофей.

На Пурим банк «Совок» продал в рассрочку шикарные квартиры Михаэлю и Фалькнеру.

Грабля достал из арон-кодеш свиток Торы, положил на биму. Зал был пуст.

Позвонил Фалькнеру.

– Я их урою. Теперь я генерал – директор, а ты – раввин.

Субботнюю службу при полном зале прихожан Зюня с хазаном Вениамином почти не замечали Фалькнера и Граблю, которые стояли в углу, как на чужой свадьбе. А прихожане, вообще, мало что понимали «в оккупации» синагоги. Ведь она принадлежала Фонду, ну и ладно. Главное, им разрешали молиться.

Фалькнер с ужасом видел, что мужчины и женщины сидели кому где заблагорассудится, молитвенники «Шма Исроэль», «Труд души», «Тегилат Гашем» и понимал он, что с этой оравой нельзя ничего поделать. Нужно, видимо, ему набрать свой миньян. Но как это сделать? Купить прихожан? Но эти привыкли ходить бесплатно.

А где продаются ортодоксальные прихожане он не знал.

В понедельник утром Грабля достал, как всегда, свиток и понес на биму.

– Отнеси обратно, – предупредил Колода.

– Прочь, гойская собака.

– Отнеси обратно.

– А это видел? – Грабля двинул огромной дулей в старенькую челюсть.

Но Колода вспомнил контору и сделал пацану подсечку. Двухметровый колос рухнул. Они катались по мраморному полу – семидесятипятилетний генерал Колода и рядовой контуженный Грабля.

– Ну, сука кагэбэшная! Ну, дядя!

А дядя захрипел под стокилограммовым Граблей.

Охрана повязала Граблю.

– Вызовем полицию.

– Только не туда – прокашлял Колода. – Они сдадут меня журналюгам, чтоб генерала КГБ…

– Не признаешь мою победу, дядя!? Ну, суки! Грабля побагровел, пена пузырей изо рта как из огнетушителя.

Вызвали скорую. Санитары вогнали ему в задницу шприц и увезли в психушку.

Михаэль срочно заболел.

Генералы требовали его к барьеру.

Пришлось вмешаться самому богатому еврею Фонда, и генералы сдались.

Михаэль ввел раввина Фалькнера в синагогу.

Фалькнер предложил Зюне встретиться.

В шумном пив-баре они пили бочковое пиво и кошерно сосали соленые сухарики.

– Главные раввины заявляют: учиться на раввинов нужно только в Израиле, – сказал Зюня. – У наших ешив «Торат хаит» и «Огалей Яаков» суд отобрал лицензии образовательных учреждений, ты знаешь из-за чего? Из-за отсутствия у них пятилетнего права на аренду помещений. А кто им мог, но не дал такую аренду? Правильно, синагоги и не дали.

– Хорошее пиво, – улыбка Фалькнера сквозь пивную кружку – московское сэлфи. – Я обалдел, когда услышал от одного раввина: «Судите да не судимы будете». У нас такого нет. Книга Левитов говорит: «Суди и будут тебя судить».

– Раввины – туристы. Их как бы нет. В какой другой стране раввин-турист может работать?

– Ох, Зюня, так можно схлопотать, что больно будет.

– О, угрожаешь.

– Нет, это ты угрожаешь, – засмеялся Фалькнер. – Зачем платить налоги, если можно не платить?

– Чтобы не было резких перемен.

– Я не люблю резких перемен, – сказал Флькнер. – И Конфуций, кстати, не любил, а проклятие «жить в эпоху перемен», ну, ему ошибочно приписывают. Но разве наша жизнь развивается в соответствии с нашими желаниями? Каждые пять – десять лет Всевышний перетасовывает карты в колоде и я начинаю сначала.

– Моя первая профессия – инженер гидротехник, – сказал Зюня. – Мурманск, Керчь, Севастополь, Клайпеда, Калининград, Находка. Но я всегда хотел жить чуть-чуть как дедушка мой Хайм-Мейер. Я вырос в Днепродзержинске.

– Я родился и вырос в Харькове.

– Так мы с тобой хохляцкие евреи.

– Я сионист и космополит одновременно. Я люблю мегаполисы с их культурным хаосом и маленькие улочки Израиля, вроде Нетивот. Везде чувствую себя дома, но везде я как бы с чемоданами и с книгами. Быть русским стыдно.

– А зарабатывать русские бабки?

– Я раввин-даян, профессор, бизнесмен. Это мой текст.

– Человек-текст?

– Да, человек-текст. В моем тексте многое стерто.

– Про тебя говорят: он очень умный.

– Я дурак, которого ничто не научит. Слушай, как вы образовались реформисты?

– Мы современный иудаизм.

– Какая разница?

– Какая разница между одним евреем и другим? Они – евреи. Первоначально это были сироты алии. Ну, у кого родители улетели в Израиль, пока эти парни служили в армии. Нас было человек двенадцать. Пополнялась другими евреями-москвичами, кому было за что помолиться за здоровье близких, отмаливали грехи, а кто хотел вернуть себе чувство собственного достоинства. Наконец, лучше знать Всевышнего и Его мораль. Читать пророков. Да, знакомиться, жениться и рожать детей. Слава Богу, есть такие. Жаль, мы уже на идише не говорим.

– В Одессе был язык одесский. – Фалькнер засмеялся, рыжая борода в пивной пене, похож на сказочного дядьку-черномора. – Я люблю одесские анекдоты:

«Это лошадь?»

«Это курица, дама.»

«Я смотрю на ценник». На русском можно по-еврейски говорить.

Настала пятница. Народ после работы отдыхал. Где ортодоксы-прихожане? Смс, фэйсбучные хомячки – все бестолку.

Михаэль привез в синагогу матрацы, вино кошерное. Водка сама пришла. Что еще нужно для молитвы? Тушили мясо, варили плов.

Запахло прифронтовой кухней.

На Шавуот привокзальные прихожанки «уговорили» вино и ночью растащили мужиков по кустам. В конце концов, Фалькнер уснул голый на прихожанке у меноры.

Так бы морока продолжалась, кабы однажды мимо синагоги на роликах не пролетела Галя, сразила Фалькнера.

– Ролики куплю, перестану пить и научусь кататься, – сказал себе раввин.

У случая всегда есть чему поучиться. Был бы случай. На роликах он в ожидании Гали, отбил себе зад, лоб и затылок. А Галя где?

Когда она опять промчалась мимо синагоги, он без роликов вдруг побежал за ней. Лапсердак с цицит, как крылья черной птицы, пытались поднять его, вот-вот он полетит за ней. И за версту было видно, что он влюбился. Как же так? Раввин в движения влюбился. Кто в родинку, кто во взгляд, а он – в движения Гали. Ее девиз – больше драйва и стиля.

Он с красной розой стоял у колонны Большого театра, как часовой с ружьем – свидание с балериной Галей.

– Галя, солнце мое! Прикинь, я жениться собрался. Чо значит, на ком!? На тебе, дурында. Вот тока то платье красное, в котором ты в клубе тусила, в прошлый уикенд, я бы сразу выкинул. У тя теперь парень, ну я, и нечего вам придуркам глазеть.

– Мне пофигу, что на меня глазеют. Я за это день получаю.

Он купил квартиру и они женились. Он у нее научился пить и матерится.

Галя пьяная с бокалом в ожидании Фалькнера, он приехал с проводов субботы у хасидов.

– Я балерина… на подтанцовках… я ж с аппликацией в айфоне… мне будет стыдно, когда я проснусь и протрезвею… почему вы, старики, так эротически настроены…

Ах, бедный Фалькнер, он входил в нее и ахал.

Балерина не успевала кончить, как он бездыханно засыпал на ней. Он ее любил. Она ему подарила ревность. Балетоманом стал. Он привлекал внимание полицейских, когда ждал Галю после закрытия театра. Взьерошенный в хасидском лапсердаке и черной-черной шляпе с букетом красных роз, как взрыв снаряда…

Наконец, она ему призналась на кухне, у посудомойки.

– Я люблю другого.

Он закричал – оконные стекла могли треснуть в квартире. Не треснули, но он был безутешен, и Галя вызвала скорую. Так Фалькнер встретился в Кащенко с Граблей. Гуляли в больничном парке после уколов, а когда звонили колокола соседнего монастыря, шли обедать.

И вдруг хасиды предложил Фалькнеру должность ректора Еврейского университета.

Гуд бай, психушка.

Между тем, Михаэль на работе погорел. Его поставили разруливать потоки денег, а он писал стихи на идише, во сне разгуливал голый по коридорам… И олигархи продали его, как сыновья Яакова продали Иосифа в рабство.

«Домой.» – телеграфировал Менаэль. Так встречает теща сукина сын Вэлва уволили.

А Фалькнер ничего не ведал, мебель покупал в рассрочку…

Он окунулся в московскую академическую среду, резиновый запах молодняка пьянил равва.

Его влекло к пышногрудой студентке Бэле. Звонкая хохотунья, а когда умолкала, звон в ушах его был еще громче. Они сошлись, как колокольня и звонарь.

– Твоих родителей я буду уважать, но они же неадекват полный…Чо орать-то было? Мы ж целовались тока. Ну, потрогал тебя за титьку разок, тоже мне сипур. Такое грех не трогать!

Блин… Да не курю я уже траву. Ну что ты пристала. Один раз пыхнул по дурости. У нас малявки будут красивые как ты.

Женился в третий раз профессор.

В «Снобе» публиковался: «Рабби почитает богатеньких – ходячую цдаку», «Из моих френдов в ФБ, примерно, 300 сумасшедших, из них половина – буйные, а есть еще нормальные дураки».

И дернул черт его похвастаться Бэлой; махнул в Израиль.

А с той, которая осталась там с двумя детьми, он даже не встретился.

Но на обратном пути Бог тоже пошутил с раввином.

В Шереметьево пограничники завернули Фалькнера без объяснений.

Все эти годы он в России не имел права на работу.

С тех пор прошло полгода. Михаэль кое-как устроился в университете Ариэль преподавателем некогда запрещенного идиш. Фалькнер предательски оставался без работы и, главное, без денег.

В тени, захваченной у арабов, Михаэль и Фалькнер пили пиво.

– Как быстро отреклись от нас, – сказал раввин.

– Мы проиграли аборигенам битву за синагогу. Приходится вкалывать переводчиком с идиша на иврит.

– Всякий перевод – ложь, – сказал со знанием дела Фалькнер.

– У тебя изменилось отношение к России?

– Когда я был ректором еврейского университета, я благоразумно молчал, – улыбнулся раввин. – Я в войне был на стороне Грузии, потому что Россия была на стороне Абхазии.

– Обратно в Россию вернулся бы?

– Даже в косвенной форме связывать жизнь с Россией больше не буду. Эта страна не для жизни, постоянный источник раздражения и ненависти. Отвратительная страна. Причиной ли тому люди или чиновники, или Кремль – не так важно. Важно, держаться подальше. Впрочем, Россия вправе жить в любом стиле, удобном ей. И никому не должна нравиться. Как бомж на площади Трех вокзалов со своим неповторимым ароматом и стилем одежды. Страна не для людей… Я потерял зажигалку.

– Все евреи делятся на рассеянных и сосредоточенных. Рассеянные живут по всему миру, сосредоточенные – в Израиле, как ты мой рав забубенный.

Михаэль попросил у официанта зажигалку. Когда, наконец, Фалькнер раскурил свою трубку, он выпустил дым.

– По-моему, я затерялся в этой пустыне одиночества.

Он в поисках работы достиг дна… на сайте объявление мелькнуло с виду заманчивое, лживое внутри – требуется раввин в Абхазию за свой счет… Дела его в полном расстройстве, хоть в могилу ложись и кадиш читай. Весь его доход – шекель нашел на тахана мерказит. Как быстро протираются карманы.

Сквозь дыры гулял хамсин…

По-еврейски это звучит так…

«Я обращаюсь через ваш еженедельник к соплеменникам: душа еврейского народа России уходит с нашими дедами, кто молится на иврите, хохмит на идише, а разговорный – русский. Что досталось в наследство нам? Страх. И еще «пятый пункт» да театр, где зубрят танскрипцию. И «Советиш геймланд» достался нам, а мы не учены. Наш язык трамвайный, булочный, заводской, наконец.

Но Пушкин и на французском писал русские стихи, а Бабель – еврейские рассказы.

Кто мы завтра? Евреи не помнящие родства. Что же делать, хаверим? Музей мамонтов? И ни боже мой, еще один антисионистский комитет.

Мы не хуже и не лучше других народов, как цветы полевые, на Земле».

Запечатал. Дописал: заказное. Полагалась еще одна марка. Можно купить на почте или в киоске газетном, гуляя Центром, по дороге на Субботнюю горку. Другого дня не будет. В воскресенье по Леве плакала дача с недостроенной лестницей и беременная жена. А вот этот день его!

Деревья, легковушки рвались навстречу пробившемуся солнцу. Такое нетерпение бывает летом и в шестнадцать лет. А если тридцать шесть… Тем более. Светлые туфли, синий костюм и в руке запечатанный конверт с недостающей маркой. Улыбалась женщина с детскою коляскою; свадебный кортеж окружил подъезд; а голубь, обойдя траву, топтался в ногах жениха. И ветер надо всеми лето пел.

На Пушкинской «фанта» в разлив и россыпью толпа у «Московских новостей». Но это новости среды. Фонтан перестройки шумно брызгал вверх. Смеялся пу в траве. Трепались тетки.

– Мой сын теперь… тоже оперативник. В воскресенье разгоняли татар, во-о-н в скверике. Расстелили газеты на асфальте, расселись человек сто с медалями. А мы, говорит, по головам шли. Выдергивали их в автобусы. Я, говорит, готов был их бить чем попало, когда они кричали нам: «Фашисты!». А вчера, знаешь, жалуется: я вспоминаю тех людей…» Представляешь?!

И откуда они здесь появились! Господи, только бы дочь за нацмена не вышла замуж…

– Я не знала, что ты такая националистка.

Как впрочем и того она не знала, чего хотел Лева своим письмом. То-то. А он хотел самого простого: еврейского счастья.

Не лететь лицом к Иерусалиму, то есть и лететь тоже хотел туда, но главным образом хотел счастья.

Но нет этого счастья, как той пятикопеечной марки.

У входа в редакцию, перед газетной вириной, выкрик толпы:

– Ельцин-шмельцин-чепуха. Лимита навозная, понял?! Не таким голодранцам номенклатура шеи сворачивала, понял?!

– Ты-то чего за них глотку дерешь, сука?

– Жиды кашу заварили, а мужику опять расхлебывай.

– Ну уж, ты мужик, очкарик засраный.

– Я видел фотографию: Ельцин в окружении лидеров «Память».

– Ты случайно не еврей?

Левины три пальца скомкали письмо. Урна дальше, где нужник «М» и «Ж». Три шага к урне. Я не трус, думал он, но я боюсь. И все же, если не я, то кто? То-то. Сунул письмо обратно в карман.

Опять толпа у «Московских новостей».

– Я уже ни во что не верю. Что-то тут не то.

– Да. Зря Ленин отказался от оппозиции. Без нее, как без денег, далеко не уедешь. Разве что в Израиль. Так я же не еврей.

– Опять евреи! – воскликнул худой мужчина и зрачки его разбегались, а капля пены ползла с губ.

Но вокруг был только один еврей и ему не доставало пятикопеечной марки.

Ее могли бы за червонец нарисовать на Старом Арбате.

На Старом Арбате, на скамье, стояла девушка и кричала: «Народ хочет говорить!». Мент растерянно дышал в передатчик.

– Давайте портрет сделаю, девушка!

– Гражданин!

– А ти поимей меня мелками! – командовал агропромовец-южанин. – Постелью! Я ж говорю *пастелью*, и чтобы я билль на виду Арбат, так?!

– А что, мужики, продаете свои стихи и никто вам ничего?..

– А чем мы хуже художников?

Человек в черном кожаном пальто и черной кожаной шляпе, рост 170, 70 кг, строголицый в окружении полковничьей свиты. Хана, Арбат!

– Подходите ближе! Человек на ваших глазах съест лезвие и запьет квасом!

– Мальчики, станцуйте брейк.

– Медь не кидайте в круг! Только белые.

На подоконниках и вдоль фасадов продавались картины за червонец и полтысячи, рисунки, картонки, брелки, макроме; из-под арок совали арбузы и кооперативные шашлыки.

Москва
Еще вчера оперативная,
А нынче глядь – кооперативная.

Вот в женском Сергей Минаев, серьга в ухе и разрез до бедра. Увязались девочки. Смехота.

Хиппи пили минералку, затопив брусчатку.

«Две девочки ищут попутчиков для турпохода с ночевкой».

Художники здесь играли в Монмартр, в Гайд-парк играли барды, замесив толпу на углу Староконюшенного.

– Представьтесь!

– Меня, – скосил гитару мальчик в желтой майке, – на Арбате знают как Германа. Я спою о своем поколении:

Наши феи ушли в проститутки,
Наши принцы сидят в лагерях…

И вдруг, напротив, у колонн Вахтангова, звонкая мелодия банджей, флейты и бубен.

– Где?! Где? Бежим туда.

Кришна-кришна-кришна-а-а!!!

А уж кто и прихлопывал. Между тем, вошел в круг бледнолицый – размахнись рука. Завизжал с надрывом, топнул неумело и отчаянно. Толпа молчала, музыка жила. Он вышел вон из круга, оглянулся как прыгун на неудачную попытку. Его по-тренерски ругнул строголицый в черном казенном…

Ретировались.

Громче запели кришнаиты. Юродивая прихлопывала, губами причмокивала. Солнце не успело с крыши сползти, бледнолицый пригнал «жигуленок» с радиоусилителями. Опер ВИА гитарами как брандспойтами.

И глохли лопоухие от Смоленской до кабака «Прага» – так заревели оптимизмом динамики. А бритоголовый кришнаит в хламиде и с колокольчиками, знай, пел-пританцовывал.

Ах ты, кришнаит, кришнаит, ты в бога душу мать! Ему что в лоб, что по лбу:

Народ: О-о, и-и-ху… себе демократия!

И удивленное иностранное: Оу, импосибл!

Посибл. Посибл. Ты у нас тут еще и не то увидишь.

Арбат – дорога на Запад с остановкой на Субботней горке, многолюдной и шумной в семидесятых алийских годах. У подножья, на Солянке, толпа евреев гналась за пьяными парнями – джинсы, черные майки.

– Провокаторы! Они вчера кричали: «Убирайтесь, жидовские морды!».

– А что они сделали сегодня?

Карликовый милиционер икал в рацию.

А на Горке во мраке задворья околачивались два-три старых холостяка и сумасшедшая шадхунем с полиэтиленовой сумкой «Спартак-чемпион». Из ее сумки свисали дохлый петух и пучок зелени.

Боковая дверь синагоги приоткрыта и луч падал на лестницу. Лева надел кепку – белая дачная кепка вмещалась в кармане – вошел в крохотную комнату, где за тесным столом сидели евреи. Десять пустых стаканов стыли вокруг белой халы. Он одиннадцатый. Счастливчик.

– Доброй субботы, – сказал Лева.

– А-гут шаббес, – кивнул синагогальный служка.

Улыбка пробежала по седым лицам. Ну да. Теперь субботнее собрание в полном составе. Потом старики пели Биркат га-мазон (что-то вроде застольного гимна). Радость общности передалась Леве. И он достал письмо, разгладил, переложил в нагрудный карман. И когда песня закончилась и наступила пауза – у стариков пауза тоже музыка – Лева вдруг запел. Хасидская песня: ей не одна сотня лет. Запел вопреки этого застолья и собственной идеи: разговорный язык и баста. Но еще удивительнее, что старики подхватили ее. Ударяя в такт ладонями о стол. И теперь с лучом света разливалась над Горкой тягучая как мед субботняя песня:

Асадэр ли сэлусо
Бэ цафро ди шаббато
Ваязмин бо-оашто
Тико каддишо.
Ии-и-най-на!
Ии-и-и-и-най-а!
Ни-на-а-ааа-а-а-а-ая-я!
Вкус жизни и свободы.

До самой Пасхи снег украшал Пятихатки, но накануне майской демонстрации грохнул Чернобыльский реактор и все полетело в тартарары. Нюсик закрыл свою лавочку – сбор металлолома.

– Софа боится пить воду Днепра, – сказал Нюсик другу Янкелю.

– За твою Софу можно писать романы, ухмыльнулся шойхет и тайный сионист Янкель – куры окочуривались, едва он подносил

нож к их горлу.

– Романы пишут негодяи, – Нюсик допил самогонку и сделал губами птичку.

Они пили у входа на базар в закусочной, где хозяйка Галя – любовь Янкеля. Она предлагала им борщ – да куда там!

– Янкель, заказывай вызов, – прошептал Нюсик.

– От кого?

– Да хоть от Голды Меир!

– И на Софу?

– Софа – моя жена.

– Риву Ароновну?

– Софа маму не бросит.

– Значит пора, – Янкель поднял стакан и театрально чокнулся с Нюсиком.

– Ну, – сказал Нюсик, – плюнь на Галю – жопа не цаца. А пить воду Днепра – вон у тебя кадык уже больше члена. Галя! Продай Нюсику от радиации марганцовку.

– У меня есть цианистый калий.

– Большая разница?

– Всего один рубль. Борщ будете?

– Иди, Галя, к нам. Выпьем за Нюсика. Он собрался в Израиль. Были мы босылами – стали израилами.

Три месяца ветер сдул с календаря. Люди боялись выпить лишний глоток воды и дышали лишь потому, что не дышать не могли. Терпкий запах полыни казался им приговором.

За неделю до проводов двенадцатилетний Семен – сын Нюсика с двумя одноклассниками сбежал в Чернобыль как на аттракцион. Солдаты оцепления не пустили их, удивляясь рюкзакам школьников.

Уже в самолете Софа призналась:

– Нюсик, мама вместо метрики взяла партбилет.

– Софа, для Израиля нет метрики – нет еврея. Для Израиля Рива Ароновна – шикса привокзальная. И дочь ее Софа – шикса, и внук ее Сема – чернобыльский мародер. Ни шекеля, ни хаты. Зачем мы туда летим – палестинцев смешить?

– Нюсик…

– Иди к туалету.

– Мне не хочется.

– Ты хочешь, чтобы нас слушал весь самолет? Иди разговаривать.

– Нюсик…

– Лучше бы я сдох, чем связался с вами. Взяла партбилет вместо метрики! Усраться можно!

– Нюсик, – Софа заплакала.

Они стояли у туалета, пассажиры выстраивались за ними.

– Она поет «Вихри враждебные…», – засмеялся Нюсик.

– Ей девяносто лет.

– Ну, почему о партбилете я узнаю в самолете? Я не могу от вас сбежать. Софа, я не могу лететь в Израиль с Розой Люксембург.

– Ривой Ароновной.

– Теперь она Роза Люксембург. Ты в школе какой язык учила?

– Забыла.

– А Роза Люксембург?

– Она знает идиш.

– Она немка. По дороге в кирху она сдуру зашла в синагогу. Вот почему она меня ненавидит.

– Нюсик…

– Почему вы не заходите в туалет? – кричали из очереди.

– У человека запор, – огрызался Нюсик.

– Я уже не могу.

– Сможете в Тель-Авиве.

– Нюсик…

– Софа, она должна знать родной немецкий. «Ах, майн либер Августин, дас ист хин…»

– Пропустите в туалет!

– Ждите! – отрезал Нюсик, – мы ждали этой минуты три тысячи лет, подождете еще три минуты.

– Нюсик…

– Слушай, Софа сюда! Неси ее документы, я спущу их в унитаз за облака.

– Нюсик…

– Надо говорить: О, майн Гот! Вы теперь немцы. В Вене закатишь истерику, ты это умеешь. Мы летим в Германию. В Германии, дура, будут кормить, а в Израиле вкалывают пока не сдохнут. Учи немецкий: Дойчланд, дойчланд, хенде хох.

– Нюсик, Рива Ароновна воевала с немцами.

– Пусть забудет, иначе я ей отпилю шнобель, теперь она Роза Люксембург.

– Нюсик…

– Документы или я вас поодиночке запущу в облака.

В Айзенахе, маленьком городе немецких запахов и звуков, где пространство заполнено бытом по чертежам, Нюсик – бесшабашный и неугомонный Нюсик, будто птица в клетке. Он носил зашитые в трусах 10 000 баксов. А потом так натерло, что

он на Софу залезть не мог. Спрятал сбережения под шкаф. Что до Розы Люксембург, она отыскала партячейку и по воскресениям ее возили на маевки в горы.

Нюсик с утра в любую погоду на велосипеде колесил по городу – собирал пустые пивные банки, расплющивал их, складывал погремушки в рюкзак, в конце дня сдавал в лавку «Цветмет». Когда набиралась тысяча марок, он прятал в коробку под шкаф. К старости он откроет свою лавочку, будет сидеть в тепле, смотреть телевизор. Во сне он бродил по осенним аллеям, собирал марки как опавшие листья, и жизнь была полна музыки. Наука быть счастливым приходит во сне. Снился Днепр и Пятихатки, пьянки с Янкелем, который улетел в Израиль и изредка звонил. Нюсик любил Израиль «на расстоянии», теплилась в нем извечная мечта еврея о своем государстве, так сказать «запасном варианте» и не дай Бог, если что можно им воспользоваться. Но лучше, конечно, чтобы израильские чиновники не «жонглировали» его судьбой. Евреи едины и по-братски дружны на расстоянии.

Софа как настоящая немка убирала, стирала, готовила еду. Смертельно уставала. Ей ничего не снилось по ночам.

В один немецкий день – сияло солнце и пели птички, Нюсик вернулся на велосипеде с рюкзаком пивных банок.

– Кто там гремит в прихожей? Это погром? – спросила Рива Ароновна.

– Это гестапо пришло за коммунистами, – ответил Нюсик.

И тут в прихожую явилась неприкаянная Софа.

– Ты купил Семе автомобиль? Сколько денег ты ему дал?

– Одну марку, – сказал Нюсик, – шоб я так жил.

– Сколько? – Софа угрожающе зазвенела ключами.

– Шоб ты так жила!

– Я нашла их у твоего первенца. Этот ключ от мотоцикла, а этот от машины.

– Шоб я сдох! – Нюсик опустился на табурет.

Германия лишала таких евреев пособий раз и навсегда.

– Я проследила за Семой, – сказала Софа, – он за углом слез с мотоцикла и пересел в спортивный «Опель». Где ты прячешь деньги?

– Разве ты не знаешь?

– Я не знаю.

– А где жид?

– Твой жид катается на «Опеле». Можешь на его мотоцикле поехать за ним. Или на велосипеде.

– Яблоко от яблони далеко не падает, – сказала Рива

Ароновна.

– Ты помнишь, где лежат деньги? – спросила Софа.

– Хорошо, только не подглядывай.

Нюсик прошел на кухню, вынул ящики от шкафа, отодвинул его. В коробке лежали две стодолларовые купюры. И все. Семнадцать тысяч баксов корова языком слизала. Их он заработал в Украине, заработал всеми правдами и неправдами – обманул, украл, одолжил. Он пронес их в кармане трусов через полЕвропы. Такие дела.

– Софа, меня обокрали.

– Нюсик, сколько там было?

– Тридцать тысяч баксов, – соврал Нюсик.

Софа села на стул бледная с широко раскрытыми глазами – восковая кукла. Красный и потный Нюсик дышал на полу, посреди посуды.

– Боже мой, это целое состояние! Мы двадцать лет отказывали себе во всем…

– Может быть, нам в роддоме подменили ребенка?

– Тебе мстят, потому что не полетел в Израиль, – сказала Рива Ароновна.

– Если бы Вы не перепутали партбилет с метрикой…

– Господи, замолчите оба!

– Он убил меня! Нож в спину отцу. Отца обокрал. Как у Шекспира. Обокрал нас всех. И теперь лишит пособия. Лишит будущего в Германии.

– Ты ему говорил, где лежали деньги? – спросила Софа.

– Я не помню.

На самом деле, пьяным он всякий раз хвастался сыну о коробке с деньгами. Софа привыкла, что все друг другу врут. И можно было бы промолчать, но слишком велико потрясение.

– Ты ему давал деньги на мотоцикл?

– Нет.

– А врал, что ты давал.

– Я не хотел, чтобы ты его ругала. Вдруг он угнал его?

– Когда ты врешь? Тогда или сейчас? Ты всегда врал и сына научил врать! Откуда у него мотоцикл и машина?! Это ты виноват!

– Замолчи!

– Когда ты в последний раз заглядывал в коробку?

– Под Новый год, но я был пьяный, я не пересчитывал.

– Семен неузнаваем, он стал чужим. Он покупает дорогие тряпки, а как он относится к нам?! Он дома не ест.

– Софа, я не давал ему денег.

– Тогда откуда?

– Может, он голубой.

– Идиот!

– Софа!

– Что Софа! Привез нас сюда, жид пархатый! Я этих немцев терпеть не могу!

– В Пятихатки захотела? Попить водички чернобыльской?

– Я хотела в Израиль.

– Там каждый хочет друг другу морду набить. Вымещают зло на арабах, а они, между прочим, может быть, и есть потомки древних евреев. Только таких идиотов можно сорок лет водить за нос.

– А Янкель?

– Та какой он еврей! Самогонку жрет и салом закусывает!

– Какая ты сволочь!

– Софа! – вдруг вспомнил Нюсик. – В Германии мы перестали трахаться.

– Он трахаться захотел, – засмеялась Софа, – ты трахаешься каждый день с велосипедом. И этими банками, которые звенят на всю улицу.

– Ревнуешь к банкам?

– Нет, я банки ревную. Иди трахайся с Надей.

– Ты мне не даешь.

– Я что кукла? Днем я для тебя половая тряпка, сука, проститутка, немецкая овчарка, а ночью я должна ему давать! Пусть тебе Надя дает! Научил ребенка врать, теперь я потеряла сына. Он не ночует дома, он заходит в квартиру как чужой, он нас всех презирает.

– Если он купил машину в магазине, нас лишат пособия по бедности, и я с вами разведусь. Оставайтесь с машиной и мотоциклом голодные.

– А ты хотел бы, чтобы он их угнал и его за это посадили?

– Я хочу обратно в Пятихатки.

В квартиру вошел Семен, щуплый узколицый молчун с бородкой и в очках, вылитый Софа, с серьгой в левом ухе. Он прошмыгнул в свою комнату.

– Софа, Сема пришел, – крикнула Рива Ароновна, она лежала в другой комнате и не могла видеть внука, но удивительным образом чувствовала его появление.

– Иди, спроси его, – сказала Софа мужу.

– Иду.

– И спроси.

– Спрошу.

Нюсик вошел в комнату сына. Тот лежал закутанный простыней как в морге.

– Сема, кто-то взял мои деньги.

– Держись.

– Это ты?

– У отца ворует деньги только сумасшедший.

– Поклянись здоровьем своих будущих детей.

– Клянусь.

– Ну, слава Богу, извини.

Нюсик вернулся к Софе.

– Это не он.

– Ну, а кто же? Карл Маркс? Вот ключи от его «Опеля».

– Он поклялся здоровьем своих детей.

– Ой – ей – ей!

Нюсик вернулся к Семену.

– Ты купил «Опель»? Я иду в полицию.

– Не надо идти в полицию, – заплакал Семен.

– Где мои деньги? Что ты молчишь? Нет больше денег?

– Да.

– Я хотел открыть семейное дело. Пункт по приему металлолома. А ты меня без ножа зарезал. Ты умер для меня.

Семен закрылся простыней с головой. Софа молча и потерянно смотрела на мужчин.

– Буду полицию вызывать, – сказал Нюсик.

– Не надо полицию, – сказал Семен.

– А что надо?! В тухес тебя поцеловать?! Попроси маму.

Если не украдут сбережения собственные дети, то украдет государство. Оно жадное и ненасытное. Такие дела. Нюсику бы радоваться, что деньги украл свой, Семен взял то, что для него сберегал Нюсик. Но поторопился, подлец, возможно, из-за презрения и ненависти к отцу, круто изменившему его жизнь. Ненависть Софы к мужу на немецкой земле, болезненная беспричинная, как инфекция, возможно, заразила сына. Вспышки гнева перекашивали ее лицо, зрачки, будто горящие угли, губы припадочно танцевали, вот-вот слюна извергнется из вулкана Софа. Но она не воровала деньги, а ее сын всегда хотел выпрыгнуть из штанов… Ни ростом, ни оценками, ни силой он никогда не мог похвастаться, и он деньгами завоевывал место под солнцем. Весь в отца! Нюсик с детства брал все, что плохо лежало. Но он не попадался. То-то и оно. Нюсик не попадался и в супермаркете, где прятал в карманы то головку чеснока, то

лимон, то огурец. Привык уходить не с пустыми карманами. На день рождения Ривы Ароновны он выложил на стол ломтики копченой говядины, шоколад, сыр.

– Тю! – сказала Софа, – тебе деньги некуда девать?

– Живем один раз, Софа, а у твоей мамы сегодня день рождения. Для меня это как седьмое ноября – красный день календаря.

Рива Ароновна уже не вставала на ноги, угасала на полу, у балконной двери на матрасе под одеялом. Софа кормила ее манной кашей, становясь на колени.

– Мама, смотри, на твой день рождения какую рыбу принес Нюсик.

– Эта самая дорогая рыба – масляная. Вы жарили ее в Пятихатках?

– Я покупала на базаре тюльку. Во-от такая – с палец. Жирная и вкусная. Ты помнишь, Софа, тюльку?

– Я покупаю мойву.

– Стоило улетать в Германию, – усмехнулся Нюсик.

– Иосиф, – вдруг обратилась старуха к Нюсику, – похорони меня с папой.

Ее покойного мужа звали Иосифом. Он был военным летчиком и погиб уже после войны.

Первое время Нюсик поправлял ее. Потом привык.

– Иосиф!

– Да, Рива.

Она угасала.

Однажды Софа так укутала ее, что старуха тихо скончалась.

Раввин – израильский хаббадник, заломил цену за похороны, и потребовал показать ему метрику Ривы Ароновны…

– С ума сойти, – сказала Софа, – у нее только партбилет.

– Она просила похоронить ее с папой.

– Пятихатки? Это еще дороже.

– Урну можно отвезти бесплатно.

– Через крематорий?

– А шо такое? Китайцы своих сжигают.

– Раввин сволочь.

– А то!

– Стыдно, – всплакнула Софа.

– Стыдно, когда сын грабит отца.

В безлюдном зале морга стояло два гроба с одинаковыми старушками в белых платочках. Одна из них была Рива.

– В крематорий можете не ехать. Мы доставим урну вам на дом.

Это решило все.

Это было приглашение на костер.

Изо дня в день Нюсик сталкивался с урной Ривы, которую Софа поставила на сервант в гостиной.

– Другое место унизительно для мамы.

Нюсику едва ли не еженочно снилась Рива. Днем он вспоминал сон, и это мешало искать пивные банки.

Что до Семена, то он однажды исчез вместе с урной. Он укатил на «Опеле» в Пятихатки, где мало что изменилось, ну разве что, на месте еврейского кладбища устроили гаражи. И теперь нужно было ехать в Чернобыль на могилу прадеда Арона, отца Ривы. Она как в воду глядела.

– Господи – Боже ж мой, из Германии привез бабушку, – качал головой старый чернобылец, обхватил впалые щеки, пряча ненужную улыбку.

Семен укрепил на бетонной плите Арона Чернобельского урну Ривы и обложил ее тяжелыми камнями.

– Треск какой… – сказал Семен.

– Это кузнечики… или твой дозиметр?

– Здесь все трещит. Долго будет трещать?

– Двести сорок тысяч лет, – ответил старик. – Вот сколько лет земля будет убивать человека.

– А другая живность живет.

– Все имеет право жить на этой земле, а человек – нет.

– Ну, почему-то мне кажется, человек приспособится.

– Земля укоротила жизнь человеку.

Семен сфотографировал могилу прадеда и они ушли с кладбища. По дороге Семен сфотографировал брошенные вертолеты, грузовики, бульдозеры. Семен залез в бульдозер – он наполовину разобран. Кругом заросшее поле.

Железнодорожные составы навечно застряли на станции. Ржавые корабли из речпорта уже не пойдут по Припяти. В зоне нельзя касаться предметов и растений, садиться не землю, курить на открытом воздухе, перемещаться на транспорте без крыши – пыль страшна.

Но на самом деле все можно.

Зона – это две с половиной тысячи квадратных километров. Пропуск в зону – бутылка коньяка. Воровство здесь в порядке вещей.

– Не у каждого есть такие возможности, как у меня, – хвастался на прощание старик.

Смеркалось, фотоаппарат был уже почти бесполезен, и Семен

просто смотрел на станцию: высокая труба над третьим блоком, низкая – над четвертым, одетым в серый саркофаг, аккуратные первый и второй.

Чувства опасности здесь нет. В окрестностях Чернобыля сейчас не так-то просто «схватить дозу».

Чернобыль был раем до СССР, до России, до Украины.

По переписи 1765 года в Чернобыле было 96 еврейских домов и жило 696 евреев – среди них Менахем Нахум Тверской, основатель Чернобыльских цадиков.

У цадика – папы сын тоже стал цадик. Мордехай. Такие дела.

Мрдехай сколотил двор – посещали приверженцы из близко и далеко, даже из Польши, если не враки, конечно. Мордехай установил маамадот – налог в пользу двора Мордехая.

Ну, не в пользу бабы Мани-молочницы или биндюжника Муни. То-то и оно.

Через сто лет в Чернобыле уже проживало 6559 евреев, 3098 старообрядцев и поляков 154. Пять синагог, три церкви и костел, плюс женское еврейское училище и еврейская богодельня. И стал Чернобыль мировым центром хасидизма.

Только в 1920 году цадики (потомки Мордехая) молча сбежали через Польшу в Нью-Йорк. Америка. Америка.

Оставшихся евреев Чернобыля немецие нацики расстреляли.

Прошло еще полста лет. Остались лишь пять могил цадиков.

Народная молва связывает взрыв ядерного реактора не с экспериментом физика-придурка, а с надругательством антисемитами над могильным склепом цадика…

Сегодня самоселы собирают в лесах грибы – не страшно жить и вести хозяйство. Каждый год пяток самоселов умирает – от старости. Молодым здесь не место.

В Чернобыле, когдатошнем еврейском местечке, встречали субботу хмельные счастливые хасиды:

Асадер ли сидусо бе цафро ди шабато ва язмин бо-
оашто тико кадишо ни-найно ни-найно ни-най-а-а а-я-яй!

Временно хмельные и счастливые.

Жизнь вообще временная. Дороги полопаются, здания упадут, все поглотит лес.

И будет как было… через двести сорок тысяч лет…

Первомай в Пятихатках выдался ветреный и солнечный, как и десять лет назад, и на невспаханных полях нет-нет да и блеснет снег, и было это все для Семена как в первый раз. Он влюбился в черноглазую девушку. Майская земля зазеленела, а девушка забеременела и родила мальчика, и назвали его Дрон, не то

Андрей, не то Арон.

Семен открыл чернобыльский аттракцион: он возил любителей экстремальных ощущений в зону отчуждения. Бизнес оказался прибыльным.

Раввин переходного периода

Лева переходного периода

Митинг в Лужниках заканчивался. Призыв уральских шахтеров к забастовке и многоголосое – ура! Города погрузятся во тьму. Лева спешил в метро. Валялись листовки «Долой КПСС», дул ветер в спину, гоняя на снегу флажки Демвыбора России. Третий день снег обновлял город и сокращал пространство до вытянутой ладони. Влюбленный и ослепший самолет разбрасывал круги над Лужниками.

Солдаты легкомысленно топтались под мостом. Преступная халатность. А вдруг восстановительная терапия не успеет?

Лева мог бы выступить с трибуны: «Эсэсэрцы! Что было, то было». Умнее не скажешь. Он освящал алию. Алия – это лифт души наверх. Лучше всего получалось на Красной Пахре, где плели Суккот, где раскатывали бумагу для трапезы – какая наглость в йом-тов ехать в лес. Необратимость поступков возбуждала.

Замерзшие в сугробах автомобили напоминали солдат в окопах. Богатый москвич не бросит автомобиль, он таскает с собой две тонны, свой имидж, свое пространство. Автомобиль – символ свободы в стране, где нет дорог.

Лева спустился в подземку. На эскалаторе девушка – ангел в голубой куртке и джинсах. В электропоезде она достала из-за пазухи белую картонку: «Люди добрые, у нас умерла мама, помогите нам.» В открытом городе бедность демонстративна. Она прошла по вагону и на следующей станции вышла.

«Осторожно двери закрываются!» В электричке дремали старики, молодые читали книжечки. DUTCH LADY – полиэтиленовый пакет с хлебом и яблоками на коленях у светлоглазой пассажирки. Она в золотистой дубленке и черных сапогах. Рядом девушка в голубой дубленке и тоже в черных сапогах. Сапоги СССР.

На «Парк культуры» вошел безликий мужчина.

– Остерегайтесь евреев – цареубийц!

– Антисемит.

– А ты жид пархатый! Поезжай в свой сраный Израиль!

– Идиот.

– Дайте, ребята, я ему дам по очкам!

Лева расставил ноги. Он мог ударить по печени, а мог – в пах,

боль такая, ляжешь, ножки подожмешь.

– Морда жеванная, – сказал Лева.

– А ты жидяра обезжиренная.

– Ну иди сюда, дам по печени.

– Убийца! – радостно завопил безликий.

И вдруг Лева перенесся в лес…

…Опушка леса, лежишь на снегу лицом к небу, кружатся розовые сосны, припорошенные белым и голубым. Это его Родина. Он был счастлив…

– Осторожно. Двери закрываются. Следующая станция «Семеновская».

На Семеновской площади Лева вышел из подземки. Играла музыка, хлопья снега проносились десять метров в секунду. Или около того. Люди улыбались. Или щурились. Мерзли легковушки, забрызганные солью и грязью по ветровые стекла. На голых ветках деревьев веселились новогодние лампочки.

Лева шагал мимо огромных окон орденоносного ракетного завода «Салют». Дул встречный восточный ветер, обещая мороз.

А все-таки победа: «Московские новости» опубликовали решение Моссовета – передать религиозной организации «Гинейни» здание синагоги по адресу Большая Бронная, дом 6. Не зря два года Гинейни молилась в этом доме – депутаты признали его синагогой.

Но еще большая победа случилась позавчера, в канун субботы, то есть в пятницу вечером, когда две студентки зажигали свечи, в зал вошел Ральф Гольдман, президент американской благотворительной организации «Джойнт». В распахнутой шубе и лисьей шапке семидесятилетний курчавый синеглазый старик нес в руках, как огромное пламя, свиток Торы в пурпурном чехле, где на бархате золотом были вышиты львы и корона.

Две сотни прихожан встали, аплодировали, взялись за руки, пели «Гевейну шалом алейхем.»

На перекрестке Проспекта Буденного и улицы 8-я Соколиная Гора, беглые грузины в тоске по югу вгрызались отбойными молотками в мерзлую глину – рыли котлован на месте спортивной площадки.

Квартира Левы вознеслась под крышу четырнадцатиэтажной башни. Лифты не работали, лестничные лампочки уже неделю как ослепли. Лева чувствовал себя скалолазом в ночи.

– Привет, – сказал он беременной Марусе, с Элей на руках.

– Где тебя черти носят?

– Вот он я.

– Явился не запылился.

– Запылился, – улыбнулся Лева, глядя на забрызганные ботинки.

Босой прошел на кухню. Взял кусок хлеба и протанцевал к окну. Декабрь латал крыши снегом. Внезапно перенесся на десять лет назад. Чернобыль. Зима. И такие же крыши…

Видел такие же крыши.

– В натуре, врубаешься где ты находишься? Пиши: «На книге Ленина написал «сволочь», на книге Сталина, написал «бандит».

– Не надо было мне писать на книгах.

– А где? На стенах, на заборах? Кто был с тобой?

– Один.

– Мы можем посадить за глумление над советским строем, можем сломать жизнь…

Не посадили.

В студенческие годы за сионизм не посадили. А как попер иудаизм из щелей, так взялись за него, как иудея.

В 70-х аресты прерывали Богослужения на квартирах.

…«Или уезжай в Израиль или прекращай антисоветчину.»

«Молиться на квартирах?»

«И молиться тоже с этими.»

«С кем?» «Эссас, Шнайдер, Розенштейн, Бегун.»

«Я с Бегуном пью пиво в бане.»

«А вам известно, что ему дали сто тысяч долларов за сионизм?»

«Жаль не на пиво.»

«Премия имени Жаботинского.»

«А вы его сослали в Сусуман.»

«За все заплачено» – усмехнулся чекист.

Сажали платных сионистов. Лева был – бесплатный.

И вдруг – звонок в дверь.

– Зяма, – представился лохматый мужчина – гора с развивающимися пейсами. – Я шалиах Любавического ребе, я обещал ему привезти в Нью-Йорк библиотеку Шнеерсона.

– А я здесь причем?

– Пройти можно?

– Пройти можно.

– У меня еще одна миссия: получить синагогу.

– Дом творчества учителей.

– Синагога хасида Полякова.

– Сбежал в Париж и умер.

– А вас похороним мы.

– «Мы», это кто?

– Я, – рассмеялся Зяма, расстегнул пальто, под ним черный сюртук и талит – катан.

– Сегодня это наша синагога, – сказал Лева.

– А это видел? Я израильтянин, а до этого служил на флоте. – Зяма засучил рукава и показал наколки. – Это раз. А во-вторых, это синагога Ребе.

– Моссовет принял другое постановление.

– Или мы получим синагогу, или прольется море крови.

– Ты же уехал из проклятой России! Зачем тебе здесьсинагога? Синагога – это люди.

– В морском десанте не служил? А зря. Три дня и вот. – Зяма протянул копию Свидетельства о регистрации «Агудат Исроэль Хаббад Любавич». – За баксы здесь получишь маму с того света.

– Но по воле Ребе, – усмехнулся Лева.

– У тебя есть здесь Тора?

– Да.

– Что «да»? Слушай, Лева, мне зарезать барана раз плюнуть. Я потомственный ленинградский шойхет.

– А где ты увидел барана?

– Но ты же не хасид?

– Держи, шойхет, Тору, – сказал Лева.

– Я вывозил чернобыльских детей с Украины и Белоруссии в Израиль, – сказал Зяма. Без документов вывозил. Однажды в Минске наш самолет арестовали и я молился Ребе, и Ребе сделал чудо.

Он перелистывал страницы Пятикнижия, как пересчитывают деньги.

– Что на неделе читаем?

– «Микэйц».

– Правильно. «И вот из реки выходят семь коров.» Повеление к тебе отдать синагогу Ребе. А цифровые значения букв о чем говорят? Тебе ничего ни о чем не говорят. Ты каббалу учил? Здесь сказано: отдай синагогу. Или ты полный идиот?!

Если врезать Зяме в челюсть, на час – другой умолкнет. Можно долбануть по коленной чашечке, а можно в пах. Завалить такого медведя. Но Лева неожиданно робко сказал:

– Представь себе, мы молимся на Бронной уже два года.

– Кто это мы?! – взорвался Зяма. – Кто мы?!

– Русские евреи.

– Кто был евреем, тот уехал. Ну-да, остались полукровки да старики. Никто голодным в гроб не ляжет, но порядок мы наведем.

– Хотите реконструировать гетто, перелицевать семьи: мать

не та, язык не тот, кошер от Зямы. Да Зяма? А мы открыты для всех. Праздник для полукровок.

Из спальни вышла Маруся.

– Вы что тут среди ночи разорались?

Лева только воздух глотнул.

В Москву прилетел еще один гонец от Ребе: Берл. Тихая изба – синагога, построенная в 37-ом году в Марьиной Роще Халуповичем в память о супруге Белле, превратилась в штаб шалиахов – машихистов. Они носили портрет Ребе как иконку. Десантники-ковбои в сюртуках и шляпах стреляли долларами, и кто мог устоять?

– Вот-вот рухнет балка перекрытия синагоги в Марьиной Роще, а на Бронной готовая синагога, – заявила Леве товарищ Колосова из Мосгорисполкома. Казалось, что за ее спиной смеялся Зяма.

– Вранье, – ответил Лева.

– А вдруг погибнут люди? Вам не жалко?

– Есть заключение госнадзора?

– «Гинейни» – сионистская организация. Есть заявление ваших конкурентов.

– Вранье.

– Вам лучше отказаться от претензии на этот дом.

В марте в Москву слетелись шалиахи Ребе. Одни – пикетировали «Ленинку»: даешь библиотеку Шнеерсона! Другие оккупировали «Дом творчества учителей» и, наконец, третьи вошли с молитвенниками в 5-й подъезд Моссовета и устроили минху. От этой минхи чиновники дурели.

В пятницу на Бронную явились боевики из РНЕ, очистили здание и от учителей и от хасидов, и повесили на парадную дверь амбарный замок.

Вечером, на парадном крыльце, скрестив руки, стояли парни из РНЕ. Прихожане «Гинейни» сбились в толпу и молились у стены. В стороне скучали Зяма и Берл. Шел дождь.

– Кто у них главный? – спросил на иврите Берл.

– Баркашов.

– В Московском правительстве, – уточнил Берл, – Кто занимается нашим вопросом? Это для нас важно.

– Слушай Берл, всю Москву Ребе не сможет принять.

– Я говорю о молодом и голодном. Молодым был Серега Станкевич.

Спустя неделю Станкевичу купили билет и забронировали номер в отеле Бруклина.

На Истерн Парквей, 770 стекались сотни хасидов, для них

Ребе – царь – Машиах, по воле его, как по воле Бога, сменяется один день другим. В святая святых для хасидов месте восседал Менахем – Мендл Шнеерсон в шляпе с белой пушистой бородой. У его ног присели высокопоставленные раввины. Зал напомнил Станкевичу заводской цех, запах заводской столовой. Но пол покрыт линолеумом. Какое свинство.

Вот-вот для страждущих откроется фарбренген – фейерия вина и слов Ребе.

– Я увижу нашего Ребе, – обернулся к Станкевичу хасид. Ему, как и Станкевичу, дали пластиковый стакан. Хасид протянул левой рукой стакан к неожиданно близкому машиаху. Ребе показал жестом – возьми в правую. Хасид держал в левой. Ребе свел брови.

– В правую! В правую!

– Протяни правую руку.

Хасид с явным беспокойством протянул ее и тут же обернулся к Сереге.

– Видишь! Рука была до этого парализованной. Чудо!

Серегу чуть не вырвало. Восковая кукла с пушистой бородой уверенно плеснула из бутылки в пластиковый стакан.

– Скажи ему: данке Ребе.

– Данке, Ребе.

После третьего стакана на душе отлегло. Фарбренген – это пение и винопитие, которые чередовались словами Ребе на идише, а идиш Станкевич не знал, поэтому он пил с Зямой беспрерывно. В полночь Серегу внесли в номер, раздели и уложили в постель.

Тем временем, Лева прилетел в Омск на учреждение общины современного иудаизма. Городские власти обещали передать им деревянное здание.

В Москве одни хасиды продолжали пикетировать «Ленинку», другие медитировали в 5-ом подъезде Моссовета. Заросшие бородами, с развивающимися пейсами, лохмы из под похоронных шляп, талиты с вырезом посередине надеты через голову, распахнутые сюртуки. Они пели «На реках Вавилонских сидели мы и плакали» на мотив «Гоп-стоп».

Из Омска Лева полетел в Пермь. Современный иудаизм получил шанс стать движением.

Постановление Мосгорисполкома «Передать религиозной организации Агудат Израэль Хабат-Любавич здание Большая Бронная, дом 6 под синагогу и реабилитационный центр детей Чернобыля». Здесь же значилось решение о «Гинейни»: подыскать помещение.

Лева узнал об этом в Киеве на учредительном собрании

общины «Атиква». Оттуда он улетел в Нарву открывать еще одну «Гинейни».

Январь 1991-го

На Семеновской площади Лева вышел из подземки. Играла музыка, хлопья снега проносились десять метров в секунду. Или около. Люди улыбались. Или щурились. Мерзли легковушки, забрызганные солью и грязью по ветровые стекла. На голых ветках деревьев веселились новогодние лампочки. Лева шагал мимо огромных окон орденоносного ракетного завода «Салют». Дул встречный восточный ветер, обещая мороз.

А все-таки победа: «Московские новости» опубликовали решение Моссовета – передать религиозной организации «Гинейни» здание синагоги по адресу Большая Бронная, д. 6. Не зря два года «Гинейни» молилась в этом доме – депутаты признали его синагогой.

Но еще большая победа случилась позавчера, в канун субботы, то есть в пятницу вечером: когда две студентки зажигали свечи, в зал вошел Ральф Гольдман, президент американской благотворительной организации «Джойнт». Курчавый синеглазый старик в распахнутой шубе и лисьей шапке, нес в руках, как огромное пламя, свиток Торы в пурпурном чехле, где на бархате золотом были вышиты львы и корона.

Две сотни прихожан встали, аплодировали, взялись за руки, пели «Хевейну шалом алейхем».

…Квартира Левы вознеслась под крышу четырнадцатиэтажной башни. Лифты не работали, лестничные лампочки уже неделю как ослепли. Лева чувствовал себя скалолазом в ночи.

– Привет, – сказал он беременной Марусе с Элей на руках.

– Где тебя черти носят?

– Вот он я.

– Явился, не запылился.

– Запылился, – улыбнулся Лева, глядя на забрызганные ботинки.

Босой прошел на кухню. Взял кусок хлеба и протанцевал к окну. Декабрь латал крыши снегом.

И вдруг – звонок в дверь.

– Зяма, – представился лохматый мужчина-гора с развивающимися пейсами. – Я шалиах Любавического Ребе, я обещал ему привезти в Нью-Йорк библиотеку Шнеерсона.

– А я здесь причем?

– Пройти можно?

– Пройти можно.

– У меня еще одна миссия: получить синагогу.

– Дом творчества учителей.

– Синагога хасида Полякова.

– Сбежал в Париж и умер.

– А вас похороним мы.

– «Мы», это кто?

– Я, – рассмеялся Зяма, расстегнул пальто, под ним черный сюртук и талит-катан.

– Сегодня это наша синагога, – сказал Лева.

– А это видел? Я израильтянин, а до этого служил на флоте, – Зяма засучил рукава и показал наколки. – Это раз. А во-вторых, это синагога Ребе.

– Моссовет принял другое постановление.

– Или мы получим синагогу, или прольется море крови.

– Ты же уехал из России! Зачем тебе здесь синагога? Синагога – это люди.

– В морском десанте не служил? А зря. Три дня и вот, – Зяма протянул копию свидетельства о регистрации «Агудат Исроэль Хабад-Любавич». – За баксы здесь получишь маму с того света. У тебя есть здесь Тора?

– Да.

– Что «да»? Слушай, Лева, мне зарезать барана раз плюнуть. Я потомственный ленинградский шойхет.

– А где ты увидел барана?

– Но ты же не хасид?

– Держи, шойхет, Тору, – сказал Лева.

– Я вывозил чернобыльских детей с Украины и Белоруссии в Израиль, – сказал Зяма. – Без документов вывозил. Однажды в Минске наш самолет арестовали, и я молился Ребе, и Ребе сделал чудо. Что на неделе читаем?

– «Микейц».

– Правильно. «И вот из реки выходят семь коров». Повеление тебе отдать синагогу Ребе. А цифровые значения букв о чем говорят? Тебе ничего ни о чем не говорят. Ты каббалу учил? Здесь сказано: отдай синагогу. Или ты полный идиот?!

Если врезать Зяме в челюсть, на час-другой умолкнет. Но Лева неожиданно робко сказал:

– Представь себе, мы молимся на Бронной уже два года.

– Кто это мы?! – взорвался Зяма. – Кто мы?!

– Русские евреи.

– Кто был евреем, тот уехал. Ну да. Остались полукровки да старики. Никто голодным в гроб не ляжет, но порядок мы

наведем.

– Хотите реконструировать гетто, перелицевать семьи: мать не та, язык не тот, кошер от Зямы. Да, Зяма? А мы открыты для всех. Праздник для полукровок.

Из спальни вышла Маруся:

– Вы что тут среди ночи разорались?

Лева только воздух глотнул.

…Тихая изба-синагога, построенная в Марьиной Роще Халуповичем в память о супруге Белле, превратилась в штаб шалиахов. Десантники-ковбои в сюртуках стреляли долларами, а кто мог устоять?

– Вот-вот рухнет балка перекрытия синагоги В Марьиной Роще, а на Бронной готовая синагога, – заявил Леве товарищ Колосова из Мосгорисполкома. Казалось, что за ее спиной смеялся Зяма.

– Вранье, – ответил Лева.

– А вдруг погибнут люди? Вам не жалко?

– Есть заключение госнадзора?

– «Гинейни» – сионистская организация. Есть заявление ваших конкурентов.

– Вранье.

– Вам лучше отказаться от претензий на этот дом.

В марте в Москву слетелись шалиахи Ребе. Одни пикетировали «Ленинку»: даешь библиотеку Шнеерсона! Другие оккупировали Дом творчества учителей и, наконец, третьи вошли с молитвенниками в 5–1 подъезд Моссовета и устроили минху. От этой минхи чиновники дурели.

В пятницу на Бронную явились боевики из РНЕ, очистили здание и от учителей, и от хасидов, и повесили на парадную дверь амбарный замок.

Вечером, на парадном крыльце, скрепив руки, стояли парни из РНЕ. Прихожане «Гинейни» сбились в толпу и молились у стены. В стороне скучал Зяма. Шел дождь.

…Постановление Мосгорисполкома: «Передать религиозной организации Агудат Исраэль Хабад-Любавич здание Большая Бронная, дом 6 под синагогу и реабилитационный центр детей Чернобыля.» Здесь же значилось решение о «Гинейни»: подыскать помещение.

Лева узнал об этом в Киеве на учредительном собрании общины «Атиква». Оттуда он улетел в Нарву открывать еще одну «Гинейни».

Август 1991-го

– Господин Гольдман?

– Денег нет! – оттелефонило.

– Это рав Лева.

– О, Рав Лева. Как дела? Нужен волк, чтоб зайчик бегал?

– Ральф, – голос трагика, – я обещал показать новый дом для «Гинейни». Вы готовы?

– Старый дом, – сказал Ральф Гольдман.

– Новый.

– Старый.

– Хорошо, старо-новый, – сказал Лева. Буду в двенадцать у отеля.

– В двенадцать, – согласился Ральф.

Тепло, но моросило. Утробная погода. Ну, где там Гольдман?

Подъехал красный «жигуленок».

– Сегодня понедельник? – спросил американец. – Почему на углу танк?

– Серьезно?!

– Военные колонны движутся к Москве, – сказал водитель.

– Переведи. – Гольдман обернулся к Леве.

– Военные учения. – Лева почувствовал вкус соблазна.

– Смотри! И на это углу танк!

Несколько танков окружили памятник Маяковскому.

– Как это случилось, что ты прошляпил дом Полякова?

– Это все хасиды.

– Прошляпил.

– Смотрите! Грузовики с солдатами!

– Стоп, – сказал Гольдман. – Я не хочу смотреть здание для «Гинейни». Я улетаю в Нью-Йорк. В Шереметьево!

Лева вышел из машины. Что же происходит, черт возьми?!

На Пушкинской с танка зачитывали листовку. Горбачев арестован. Не городской грохот надвигался справа. Ну, как не побежать навстречу. Побежали все, а добежали десять. Леве развели руки в стороны! Господи, какой глупый конец! Головной танк остановился в десяти шагах. Стал слышен дождь. Долговязая старуха ударила зонтиком танк. Танкист высунул мальчишечье закопченное лицо. Подбежал офицер.

– Под трибунал пойдешь!

– Люди, – виновато ответил танкист.

Офицер, матерясь, побежал обратно, вверх по Горького.

Толпа росла. От Моссовета с красно-сине-белым флагом поднималась колонна ДемРоссии. Иду с ними, решил Лева. Не домой же!

– Долой КПСС! – скандировали люди. – Россия! Свобода! Ельцин!

Проезжавшие водители легковушек крутили пальцем у виска.

Вокруг Белого дома ни души. Только под самыми окнами бродили несколько бомжей, старуха с авоськой юродиво выбрасывала к небу руки, причитая:

– Три дня, и Бог спасет Россию.

– Ельцин!

На балкончик вышел Бурбулис:

– У нас нет электричества.

Ни хрена себе! – подумал Лева, опять, что ли, за руки браться?

– Ельцин! – не унималась толпа. – У нас есть мегафон!

Бурбулис спустил веревку, к ней привязали мегафон.

Наконец. На балкончике появился Ельцин.

– Москвичи! – прокричал он в мегафон. – Защищайте Белый дом!

– Ельцин! Россия! Свобода! – скандировала толпа.

– Не расходитесь!

…С утра под проливным дождем москвичи сооружали баррикады.

– Записываю добровольцев! – хрипел чахоточный мужчина в телогрейке.

– А ты записался? – спросил сам себя Лева. Нет, надо ехать в Гипрорыбпром. Ведь с работы турнут за прогул.

– И турнут, будь уверен! – орал алкаш Бондаренко.

Алкаш-то алкаш, но начальник.

– Кто тебя тянул за язык заявлять про родственников в Израиле? Потом эти допросы в спецчасти. Что от тебя хочет КГБ?

– Исправить меня хотят.

– Исправляй свои чертежи…

В среду гэкачеписты сдались. Права оказалась старая бомжиха: три дня спасли Россию. Три смерти. Стотысячные митинги – глас народа – глас Божий. Остальные 250 миллионов в розницу – не в счет.

В пятницу Лева пришел на работу, его не ругали, ополоумели от событий. Вечером он провел богослужение в ДК «Автомобилист» – что-то вроде рок-концерта: все пели.

А ночью – звонок.

– Один из погибших – еврей. Ты можешь участвовать в завтрашних похоронах?

– В субботу?

– Это просьба Руцкого.

– Я Коэн, я никогда никого не хоронил, тем более в субботу. Причем я Коэн из Чернобыля. Может быть, я тот, кого так ждут хасиды.

– Мика встретит тебя, – засмеялся Файнберг.

Миллионоликая Москва стояла в ожидании: от гранитного Маркса до трех гробов на Манеже.

– Пропустите раввина для отпевания убиенных, – кричал Мика Членов.

Только раз тетка кинула им в спину:

– Жулики!

Но они уже у гробов. Здесь просторно и страшно. Тяжелая рука легла на Левино плечо.

– Запрещено евреев хоронить в субботу, – сказал Зяма.

– А умирать в субботу можно?

– Праведник не умрет в субботу, – Зяма будто на сцене.

– А вот уже скоро не сможешь повторить этого.

Зяма снял с его плеча руку, испуганно отступил на шаг.

– Когда?

– Такие дела.

– Нельзя еврея хоронить в субботу. Надо гроб с Кричевским оставить здесь до завтра.

– У них, по-моему, другой сценарий.

– У кого?

– У государства и у семьи.

– Уговори родителей, – сказал Зяма.

На табуретах у крайнего гроба сидели черноглазая седая Инесса и ее муж.

– Нельзя еврея хоронить в субботу, – сказал Зяма. – Надо гроб с вашим сыном оставить здесь до завтра.

– Что вы такое говорите, – прошептала мать. – Пусть хоронят, как всех.

– Вы сумасшедший, – пробормотал ее муж.

Только сейчас они заметили Леву в талите и ермолке.

– Сделайте, пожалуйста, что сможете для нашего несчастного Илюши.

– Я буду с вами.

Руцкой открыл траурный митинг.

Слово освобожденному президенту СССР Михаилу Горбачеву.

Хор православной церкви построился под трибуной.

К Леве подошел священник:

– Вы будете молиться за одного или за всех.

– За всех.

– Хорошо. Мы тоже отслужим за всех.

И в этот момент Лужков знаками велел Леве подняться на трибуну. Море людей, десятки телекамер и микрофонов.

– Говори, – прошептал Лужков.

– А что?

Да скажи что-нибудь по-человечески.

– Я их имен не знаю.

– Никто не знает. Давай.

– Прошу тебя, Господь, милости и милосердия, дабы мы отдали последний долг геройски погибшим защитникам свободы. И охрани нас от всякого препятствия. Я прочту поминальный Кадиш по погибшим; Итгадал ва иткадаш шмей раба…

Кадиш звучал над центром Москвы.

Когда он окончил читать и спустился с трибуны, церковный хор пел заупокойную молитву. К Леве подошел высокий мужчина:

– Я посол Соединенных Штатов Америки. Рабай, я хочу пожать вашу руку. Вы не представляете себе, какой вы совершили поступок. Я хочу представить вам сотрудников американского посольства.

Горький еврей Йом-Тов покрыл гроб Ильи Кричевского талитом, похоронная процессия двинулась по Новому Арбиту к Белому дому, к Ельцину.

Лева и Мика шли с ветеранами-афганцами.

– Головные уборы снять! – яростно окрикивали афганцы зевак.

К Леве подбежал корреспондент:

– Мы ведем репортаж на Израиль. Религиозные евреи выбежали на улицу и рвут на себе волосы. Как можно раввину в субботу хоронить? Что вы им скажете?

– Это похороны государственные, и такова воля родителей Ильи, да упокоится его душа. Мне тоже тяжело из-за всего, что происходит в эту субботу. Я прошу у Бога прощения.

– А люди вас простят?

– Не знаю.

Из машины высунулась голова священника:

– Полезайте в кабину.

– Суббота, – ответил Мика.

Батюшка пожал плечами.

Во дворе Белого дома процессию встретил Ельцин, пожимал руки священникам.

– На Ваганьково, скомандовал Руцкой.

На кладбище их уже поджидали баркашовцы из РНЕ с плакатом: «Нет места жидам в Москве». Афганцы мгновенно разобрались с баркашовцами, выбросили их за кладбищенский забор. Процессия разделилась, большинство вошли в часовню, остальные с Ильей в ожидании. Наконец, процессия воссоединилась.

– Здесь друг Ильи, скрипач, – обернулась к Леве Инесса. – Можно он будет играть?

– Пусть играет.

…В Гипрорыбпром Лева приехал к концу рабочего дня, не все чертежи были исправлены.

Октябрь 1993-го

Дождь Судного дня барабанил опавшие листья, многократно усиливаясь в ночи, торопил листопад и прохожих; залихватски плясал на автомобилях, фортепьянил, пугал детей и старушек. А утром дождь обернулся в туман и затих, повиснув между колоннами синагоги.

Прихожане поднимались на Горку, на утреннее Богослужение. Желтый свет иномарок выныривал, и стайки нищих тотчас кидались под колеса. Старый кантор на старый манер пел с амвона. Как прекрасны шатры твои, Иаков…

Тем временем в доме Полякова Зяма встречал голодных стариков под портретом Царя-мессии. А на Разгуле, в трех шагах от Елоховской церкви, в ДК «Автомобилист» молитвы Судного дня пели десять американских канторов – по совместительству солистов хора Ростроповича…

– Перерыв до шести вечера, – объявил Лева.

– Рабби, покажи нам Москву, – обратились канторы. – Что у вас самое-самое?

– Белый дом.

Маленький сталкер провел их по крышам гаражей к дыре в ограждении, здесь милицией и не пахло. Дым костров и запахи страха, где сошлись коммунисты, казаки, баркашовцы. Расколотые арбузы валялись в ногах, как обрубленные головы. Женщины в красных косынках.

– Русский Голливуд! – воскликнул кантор Беня.

Бритоголовые парни, вооруженные ножами, цепями и битами кричали из-за проволоки милиционерам:

– СССР! СССР! СССР!

– Ельцин жид!

– Бей жидов, спасай Россию!

Милиционеры снаружи равнодушно улыбались молодому безумству. А внутри зоны коммунисты-дружинники топтались в нескольких шагах от фашистов.

Дым обеденных костров, играла гармонь между выкриками.

Наконец, защитники Белого дома заметили канторов, окружили их и кричали им:

– Люди обнищали, люди унижены!

– Мы не сдадимся!

– Банду Ельцина под суд!

– Чего они хотят? – спросил кантор Майкл.

– Они защищают Конституцию от президента.

На стенах черным и красным: «Смерть жидам!», «Иудейское царство Ельцина!».

– Они иностранцы?

– Они солисты хора Ростроповича, американцы.

– Евреи!?

– Среди нас тоже есть евреи.

– Расскажите Америке: мы не сдадимся.

– Они поют?

– Русские песни знают?

– Ну, давай свои.

– Русскую, русскую!

– Давайте вместе, – предложил вдруг по-русски Майкл и запел «Калинку».

Чуть ли не с цветами провожали канторов к калитке.

В шесть вечера, как ни в чем не бывало, канторы и Лева поднялись на сцену ДК «Автомобилист». Зал вновь переполнен.

А в следующее воскресенье Лева загрузил рюкзак для воскресной школы – лулав, этрог, веревочки, картинки. Суккот.

В полдень он вышел на Садовое кольцо, светило солнце «бабье лето», за плечами из рюкзака торчали пальмовые ветви.

Сегодня большевики идут на прорыв блокады Верховного Совета. Где они? Где вообще люди? Пустынно. Тихо. У-у! – гул справа. Из переулка выскочили милиционеры в касках со щитами и дубинками. Полетели камни. Лева бросился в подъезд, а он битком набит людьми. Развернулся, прижался спиной к улице, мимо бежали боевики с арматурой.

– Что стоишь? С нами!

Страх толкнул его в людской поток. Бежал под плакатом «Смерть жидам!». Впереди бежавшие боевики смяли ряды милиционеров со щитами, срывали с голов каски, вырывали из рук щиты и щитами по каскам, по башке. Оцепление сломлено.

Лева стоял на зеленой траве между Белым домом и мэрией, когда грузовик протаранил высотку. Раздались выстрелы.

– Ложись! – скомановал толстяк с портфелем и первым грохнулся на землю.

Лева залег лицом в траву. «Та-та-та» – пели пули. Вот влип, идиот. Да еще угодил на колючую проволоку.

– Ладно, мужики. Ползем в мэрию. Там добро, – толстяк не полз, а перекатывался. Сматываюсь к чертовой матери – пронеслось у Левы в голове. Стрельба усилилась. Лева полз к тротуару. Наконец, руки уперлись в асфальт. Прохожие могли бы

принять его за пьяного. Отсюда, с Нового Арбата, штурм мэрии похож на репетицию кино.

Посыпались стекла, собровцы прыгали на газон, граждане шарахнулись. Баркашовцы ловили собровцев, и те с поднятыми за голову руками, колонной возвращались под улюлюканье и ликование толпы. Люди с красными повязками останавливали рейсовые автобусы и грузовики.

– Берешь людейна Останкино. Проезд бесплатный.

Прохожие легкомысленно входили в автобусы, молодежь взбиралась на грузовики.

На лестницах Белого дома и мэрии записывали добровольцев на штурм Останкино.

– Мэрия взята! На Кремль! На Останкино!

А на Старом Арбате музыка. Вот придурочные, они еще не знают, что выживут в другой стране.

На станции «Семеновская», у дома родного, на все оставшиеся деньги Лева купил четыре банки шпрот и пять мешочков сухарей.

– Зачем столько сухарей? – ахнула Маруся.

– Война.

– Напился?

– Война, Маня. Они уже у Останкино. Включай телик.

Телевизионные каналы отключились один за другим.

– Хорошо, – сказала Маруся, – я могу жить и без телевизора. Иди кушать.

И в это время Егор Гайдар призвал по радио «Эхо Москвы» выйти на защиту Моссовета.

– Ты куда опять? Мало тебе, что ли?!

– Все равно уже куртка дырявая, – Лева поцеловал дочь и вошел в лифт.

У Моссовета улица Горького была перегорожена грузовиками. С одного из них Зяма раздавал булочки и коробочки с соком.

– Кошерные? – Лева взял их рук Зямы.

– Пахнет нешуточными разборками.

Но люди улыбались. С балкончика, откуда выступал Ленин, Егор Гайдар призывал москвичей: «Не расходитесь!»

Моросило. У памятника Юрию Долгорукому шла запись добровольцев.

Москвичи бродили от мэрии до мэрии. На площади Свободной России мэрию защищали фашисты, на Тверской мэрию защищали гайдаровцы.

– Давайте искать автоматы, – предлагали школьники.

– Ловите лазутчиков-баркашовцев.

– Анпиловцы идут с автоматами. Когда нам раздадут

автоматы?

– А почему нас не штурмуют? – удивлялись демократы на Тверской. – Бейтар на бэтээрах атакует Белый дом, – кричали баркашовцы у Белого дома.

– Ловите гайдаровских лазутчиков, – командовал Макашов.

– Делаем баррикады, – учили гайдаровцев те, кто торчал у Белого дома.

– Бейтар стреляет с крыш домов, – предупреждали баркашовцы гайдаровцев.

Рано утром бабахнуло. Снаряд попал в Белый дом, оттуда листы бумаг. В небе вертолеты.

– У меня там сын, не стреляйте! Они выйдут, – кричала на мосту женщина солдатам.

– Мать, не мешай! – отмахивались солдаты.

Неожиданно заморосило.

Октябрь 1994-го

– Видите ли, поминальная служба – это там где погибли люди… Он справится… О-о, он уже здесь.

В кабинет Главного раввина вошел Лева.

Тень от облака разделила безлюдную площадь Свободы. За Белым домом, в переулке ветер полоскал красные и желто-черные знамена. Молодой священник осенил крестом столпившихся рослых казаков в серых шапках. Много плакатов: «Смерть жидам!», «Ельцин жид». Лева шел по дороге в талите с молитвенником подмышкой и с кипой на голове. Люди растерянно провожали его взглядами. Как посмел?! У организаторов митинга шок. Александр Руцкой (его с товарищами накануне помиловал президент Ельцин) холодно посмотрел на раввина. Нет, не приглашал.

– Меня прислала синагога, – сказал Лева.

Первыми пришли в себя коммунисты.

– Ясно-понятно. Евреи были среди убитых.

– Охраняйте раввина, пока он будет молиться, – сказал дружинникам коммунист с бородавкой на носу.

Охраняйте меня, берегите сукина сына, дурака законченного. Это же надо так влипнуть! А Шаевич зачем меня сюда послал? А я зачем сюда пришел? Господи, помоги.

Японцы уставились телекамерами на Леву, Лева на японцев. А слева и справа старушки смотрели на Леву. Где они его уже видели, этого чокнутого раввина?

– Давай, отец, начинай! – к Леве подбежал коммунист с

бородавкой на носу. – Батюшка, слышишь, запел!

Все, я влип, мне конец. Но при всем честном народе. Убьют как жертвенное животное. Стыд.

«Эль малэ рахамим», – начал Лева заупокойную молитву.

Вскоре раздались глухие удары – казаки рвались к Леве сквозь живой щит коммунистов. Это вам не семнадцатый год XX века. Ряженые казаки – мастера самбо и бокса, били мягкотелых москвичей.

Серые шинели выстроились перед Левой.

– Ну, замолкни.

Лева закрыл глаза и продолжал петь молитву.

– Лахен бааль гарахамим…

– Заткните ему пасть, – голос за его спиной.

Наконец, все было кончено. Он ощущал на себе горячее дыхание зверя.

– Иди, жид, к стене.

На красной стене фотографии погибщих защитников Белого дома: девушка светлоликая с короткой стрижкой, курчавый очкарик, мужчины, женщины… Лева прижался спиной к стене и поднял голову. Перед ним никого не было.

…Утренняя служба. Йом Кипур.

Хоральная синагога переполнена москвичами и горскими, бухарскими, грузинскими евреями – беженцами.

В перерыве перед прихожанами выступил представитель КПРФ.

– Мне поручено принести извинение за вчерашний случай у Белого дома.

– А кто это был?

– Реформист.

– А-а, избили?

– Так ему и надо. Реформисты женщин за раввинов признают.

Тем временем, в ДК «Автомобилист» был тоже перерыв и Лева устало плюхнулся в кресло за сценой. Он сочинял стихотворение, не смея его в этот день записать…

– Разуйся, – сказал внутренний голос. – Какая связь между средневековой молитвой и сегодняшним бардаком.

Одни шли в киллеры, другие – в коммерсанты.

Жизнь приносила деньги, но меньше, чем смерть.

Он сочинял стихотворение, не смея его в этот день записать.

Ледяной сосулей таяла Москва.
Был март,
Олигарх рифмовал слова,

Поп-арт.
Напророчили комсоргу кока – колу
И тюрьму.
Расстрезвонились колокола
По уму.

Сбережет Россия полукровку и вора
От сосули,
От свободы, президентского дворца,
И от пули.

Третья эвакуация

Апрельский снег в лучах солнца и четких теней от деревьев словно приглашение к Пасхе. Но чернозем в талых слезах – предчувствие гибели от котлована. Он приближался к домам и к святыне – к склепу Тверского цадика. Опасность почувствовали грачи – не стали в этом году обустраивать гнезда. И женщины – в плащах с повязанными шарфами – они не готовы раскрыться. Школьники гонялись по тротуарам на деревянных самокатах, брызгая лужами не хуже грузовиков. Еще вчера днем на них лаял рыжий Хвост – пес сапожника Шаи, царапая передними лапами изгородь. А ночью дом сгорел. Второй за апрель. Все слышали как кричала толстая горластая Бобба, а Шаю увезли в больницу. Пропал Хвост. Дом Шаи был крайний – дальше поле с пригорками, и зимой дети делали в сугробах пещеры или скатывались на санках, или просто падали в снег – у кого лучше отпечаток получится. И все это под лай Хвоста. Перед еврейской Пасхой и закладкой фундамента под Первый реактор из Москвы прибыл авторский надзор ЧАЭС – физик Лев Юрьевич «Юдович» Попок – ладный и миниатюрный как гимнаст. Он и впрямь был гимнастом. – «Я физик, я в Бога не верю! Я верю в реактор. Который скоро запустим и будет электричество и кое-что еще для оборонки!» Сейчас он был гостем полковника КГБ Ша-Повал и начальника строительного управления Ермака. Они подъехали к бане, краснокирпичному зданию бывшей синагоги.

– Это хорошо, Юрьевич, что тебе все равно, что храм, что сауна! – усмехнулся Ша-Повал.

– Не верно! Сейчас здесь лучше!

– А будет еще лучше! – сказал начальник котлована Ермак.

Борис Тверской, дальний родственник цадика дремал, прислонившись к косяку двери под закрашенной мезузой. Он услышал голоса и вот будто три ангела подходят к нему. Над входом на идыш намалевано «ребе» и уже по-русски заглавными буквами «ЕБЕР». Славяне прочли как прочли. Почти все забыли, что это была синагога Тверского цадика.

В микве – сауне, полыхал хлебный жар – горячий ржаной воздух с еле заметной примесью мяты и эвкалиптового масла шибал в лицо, горячо облапал белотелых. Попок тотчас забрался на верхнюю полку. А Ермак начал косить под придурка, размахивал руками, выкрикивал частушки.

– Это бывшая синагога! – голосом гида объявил Ша-Повал.

Взмахнул веником и горячий пар, волна жара накрыла Льва Юрьевича, будто поволокла бесчувственного по гладким доскам,

как утекающая вода.

– Я хочу летом поохотиться здесь! – сказал Попок.

– А здесь уже ничего не будет, – сказал Ермак. И вдруг засмеялся – У невидимого еврейского бога ничего не будет!

– Этот чертов Котлован сожрет не только синагогу, но и мою контору, – сказал Ша-Повал.

– Нашел о чем думать! Я вот думаю о Соньке с маленькими грудочками! – сказал Ермак.

Двадцатилетняя Сонька в предбаннике накрывала стол для посетителей. Водка, хлеб, сало.

– Котлован-то Котлован, – забормотал Ша-Повал, – А куда выселенцев девать?

– А чего ты вдруг озаботился? – спросил Ермак. – В Израиль, не хочешь? Ну в Биробиджан, но это государству дороже обойдется!

– Я к новому году должен пустить Первый блок. Административные корпуса хочу посадить на готовые коммуникации. Фершстейст?

– У меня 200 еврейских семей, – сказал Ша-Повал.

– Ну и что ты не даешь им разрешение на выезд?

– Вот именно, – воскликнул Ермак, – пусть с голой жопой бегут отседа!

– Вам дай волю, – ухмыльнулся Ша-Повал, – все побежите!

– Трус ты. Полковник, – Попок стал слезать с полки.

– На них полгорода держится, – продолжал ныть Ша-Повал. – Ладно, идемте передохнём!

Сонька с маленькими грудочками вынырнула из глубины предбанника в белом халате:

– Водка ваша стынет!

Потоки ледяного душа – в них чувствовался земляной холод плывунов, утопивших старое кладбище.

– Все-таки евреи не дураки были с этими миквами, – сказал Ермак.

– Дураки, дураки, – ответил Попок не задумываясь.

– Так считаешь, – удивился чекист, – это чем же?

– Не знали, чем для них все кончится!

Водка пролетела без вкуса, без горечи, и запаха у нее не было.

– Ну-ка, Лев Юрьевич, оцени сало, – толкнул Ермак в бок москвича, протягивая кусок светящегося янтарного сала. – Ну давайте за наше общее дело, – Ермак поднялся с налитым стаканом водки.

– Тысячу лет люди обустраивали эту землю, а потом чужие приперлись и хана всему! – сказал Ша-Повал. – Ни чести, ни совести у людей не стало, никому верить нельзя! Все самому проверять надо!

– Ты это о чем, Витек? – удивился начальник Котлована.

– Это я о бабах, – испугался Ша-Повал.

Ермак ухмыльнулся.

– Правильно говоришь. Ну, давайте по второй!

– Кто-то подпалил дом сапожника Шаи, – Ша-Повал стукнул стаканом по столу, – строители.

– Брехня, – покраснел Ермак, – Да ты что, Петрович!

– Кладбище не трогайте, там у них цадик похоронен! Звонили из Киева, мы должны паломников принять, со всего мира приедут.

– Ну пусть поторопятся, – криво ухмыльнулся Ермак.

Ша-Повалу вроде и жалеть не о чем. Не о могиле же цадика убиваться, а вот защемило в душе. Он вырос в Чернобыле и все ему родное. Пусть даже неприхотливое, но это его.

– А этот еврей, – спросил Попок, – который встретил нас, он кто – сторож?

– Это габай – староста синагоги, – сказал Ша-Повал, – синагоги уже нет, а габай остался. Он у меня и кнут, и пряник для этих евреев. Мы с ним такие дела проворачивали и еще провернем, если надо партии и правительству. Но это, видать, будет уже последняя наша афера.

– Неплохого выбрали себе старосту евреи, – захохотал Ермак.

– Его не выбирают, его назначила моя контора.

– Нууу… – протянул Ермак, – тогда он просто воин божий.

На следующей неделе о габае только и говорили. Его видели в поликлинике, в школе, на комбинате бытовых услуг, на вагоноремонтном заводе и в депо, на хлебопекарне и в гастрономе, – короче всюду. К пятнице все евреи на ушах стояли. Конец света, Армагеддон. Этот великий ужас всеобщего уничтожения даст им силы бежать в Израиль или на Север, куда глаза глядят. Каждого работающего еврея вызывали в отдел кадров и там в присутствии габая им объявлялось, что они должны в пятницу вечером быть на центральной площади и никаких комментариев. Все, приказ. Это как приговор. Потомок Тверского цадика объявлял евреям эту новость лицом к лицу, зрачок в зрачок, как у стоматолога.

– Это уже третья эвакуация, – сказал закройщик Гриша Брод, запихивая в авоську нижнее белье и сухари.

– Кто тебе сказал? – кричала близорукая Вера.

– Объясняю, – сказал Гриша Брод, – для тупых и новорожденных: габай в отделе кадров.

По улице уже прошли на площадь Буксбаум, Калеко, Фалькнеры.

– Опоздаем, – Гриша Брод размахивал авоськой.

– Пока я Фимочку не покормлю, я никуда не иду, – кричала Вера.

– Опоздаем!

– Идиот! На тот свет поезд ходит без опоздания!

Гвалт и у соседей.

– Белла! – звал поляк Сеня.

– Я собираю маму, скотина!

– Мама, вы готовы? – кричал он на ухо девяностолетней Блюме.

– Дурак, – не унималась Белла.

– Дурак, – засмеялась теща.

– Мама, вы готовы!!!

– Первая эвакуация была от Бога, – причитала Белла, – вторая от черта, третья – от людей, от нашего ненормального габая.

Что за хрень! Она то откуда знает про эвакуацию?

Один за другим пришли к семи вечера на старую площадь двести семей. Из окон жилых и административных зданий евреев хорошо видно, как они молча стояли на площади, как звери в загоне. Хорошо видно и тех, кто по углам пространства контролировал ситуацию. Неподалеку стояли пустые автобусы.

– Заходьтэ у автобусы! – раздалась команда.

– Третью эвакуацию я не переживу!

– Мама, это война? – дергал мальчик молодую женщину.

– Заткнись!

– У вас есть вызов из Израиля? – спрашивал габай всех подряд.

Может быть, ради этого только их и собрали вместе.

Автобусы обогнули центральную часть города, миновали железнодорожную станцию, и очень скоро остановились за городом: справа незасеянное поле, слева еврейское кладбище, на краю которого был виден склеп Тверского цадика. На поле в багровых лучах заката стояли бородатые люди в черных шляпах и черных костюмах.

– Граждане евреи Чернобыля, – объявил габай, – с нами

вместе хотят встретить субботу святые старцы, наши соплеменники, ученики святого Тверского цадика. Святые паломники из Америки и Европы. Давайте помолимся у могилы Тверского цадика, чтобы была легкой дорога в Израиль! Ну, все, будь ласка!

Габай подошел к паломникам, и повторил:

– Будь ласка!

Леха, доди, ликрат кала –

запели паломники, высоко задирая.

И пейсы и бороды будто поднялись к небу.

– Борис, – одергивали они габая, – а тоби шо за корысть?

– Кому пришлют вызов у Израиль? – переспросил габай. – Кому пришлют, тому вышлют шубу, джинсы, кофточки, и мне что-нибудь перепадет!

– Придурок!

Чернобыльцы опомниться не успели, как паломники уже пели завершающую молитву:

Адон олам, ашер малах,
Бетерим кол, ецир нивра…

Долгие проводы

Июнь 1977 г.

Есть РАЗРЕШЕНИЕ. Нет сна. Лев Фалькнер пытался запомнить послания-завещания к родным в Израиль друзей-отказников. Словно раввин, он их выслушивал. Поди теперь попробуй вывезти из Союза еврейские цурес в своей голове…

Легкоатлет и красная бородка сделали пятидесятилетнего физика Фалькнера задирой, словом и кулаком мог дать сдачу. В 66-ом молодой доктор наук, но не выездной. Шестидневная война распирала его от гордости за соплеменников и некому морду набить. А кто ему набьет морду?

Ах, вы меня не пускаете на симпозиум в Сан-Франциско по приглашению? Тогда я туда эмигрирую. В Москве таких – не ходи в лес за грибами.

Все годы отказа Лев обещал себе, если дадут РАЗРЕШЕНИЕ, немедленно улетит, нагляделся на тех, кто замешкался и попал в ловушку, когда уже не гражданин Союза, но все еще в Москве. Кто угодно мог отменить разрешение на выезд. То-то и оно. И вот, бери билет, привет СССР! Но он не нашел в себе силы улететь тихо, не выслушав на прощание слова друзей.

Накануне Дня Победы – цвела сирень – он поднялся на Горку. Белые колонны синагоги, сотни людей. Все тоже – и нет. Он вдруг обнаружил в себе радостное самоотстранение и любовь одновременно к ним. Толпа подобно волне моря. Ты уже во власти стихии.

– Зяму вызвали в милицию и пригрозили выслать из Москвы, если он не перестанет призывать Запад бойкотировать Олимпийские игры в Москве.

– Ну, это можно делать и в Магадане.

– Математику Халуповичу дали визу.

– Значит, следующим будешь ты. – Лев ткнул кулаком в плечо сутулого программиста Илью Либензона.

Они втроем вовлечены в дела Щаранского. Если двоим дали разрешение на выезд, то почему бы не дать его третьему? Эта новость сняла у Льва камень с души.

Кто-то хлопает его по плечу. Ба, коллега Левин.

– Лазарь Хейфец скрывал от жены, что он сотрудничал с КГБ, а жена его считала сионистом.

– Ну и что?

– А то, что она переспала с соседом в знак протеста. Короче, Лазарь просит вызов из Израиля.

– Пусть попросит в КГБ.

– Лев, ты летишь в Америку? – Левин подмигнул.

– В Израиль.

– У тебя же есть приглашение в американский университет. – Глаза коллеги округлились.

– А я лечу в Израиль.

– Ой, да ладно тебе. Я никому не скажу о твоих планах. «Натив» нам перекрыл все пути кроме Израиля. Ну, мы простые смертные, а у тебя приглашение есть из Америки. А кто эти ребята из «Натива»? Хотел бы я на них посмотреть. Откуда они знают, где будет лучше мне и моим детям? Я ведь еду ради своих детей. Один Бог знает, где им будет лучше.

– Не морочь ты мне голову Америкой. Я давно уже все решил, – ответил Лев.

Из синагоги повалили старики – головы опущены, ну разве исподлобья зык-зык в сторону отказников – родственники, Бог даст есть? Богобоязненные решатся на отъезд, когда будет не страшно.

– Работай, мне пора на Курскую, – сказал Фалькнер.

– Да ты что, Лев, мы с тобой должны выпить.

– На проводах.

Он поехал прощаться к Андрею Лаврову. Букет белых роз для Лены и «Марафонская медаль» Андрею.

Пили чай на их маленькой кухне.

– А эта медаль, – улыбнулся Андрей Лавров, – мне-то за что? Я и круг не пробегу.

– На память обо мне и, кстати, заслуженно – ты наш лидер долгого забега Союза в демократический мир.

– А ты так и выбил на обратной стороне медали?

Лев часто сопровождал уезжающих из Союза в их беготне из МВД в посольство, из банка в таможню, получить подписи чиновников. Чаша сия не миновала его. Его тоже сопровождали отказники, кто-то из них просто хотел побыть с ним эти последние дни, кто-то искал совета.

800 рублей за выездные визы жене и ему: два маленьких документа, отпечатанных на тонкой желтой бумаге. То и дело, доставал их из бумажника: они действительно существуют.

Отдал почти половину стоимости квартиры: тысячу рублей за отказ от Советского гражданства.

Нельзя брать с собой письма, дневники. Когда отбирали деньги и ценности – это одно, когда воспоминания – совершенно другое.

Проводы – вечер открытых дверей. Красное лицо Льва покрыто каплями пота. Едва не вся Субботняя горка вместилась в

трехкомнатушке-хрущевке.

Есть отчаянная надежда, что все эти люди скоро последуют за ним.

У раскрытого окна программист Илья Либензон в серых брюках и красной безрукавке, держал фужер с вином в окружении блондинок.

Он жестикулировал и женщины смеялись. Здесь мог бы быть и Толя Щаранский, но он в Лефортово на нарах (Сбитые ботинки, мятые брюки, кепка с заломанным козырьком. Таким его запомнили…)

– Я слышал, – сказал Лев Илье Либензону, – Оксфордский университет пригласил вас на конгресс, устроенный в вашу честь.

– Кремль против.

– Вот гады. – Лев отпил глоток вина.

– Это плохой для меня знак. – Либензон опустил голову.

Разными почерками фломастером исписаны обои:

«Не будь слишком строг и не выставляй себя слишком мудрым: зачем губить себя?

Студенты читали обои.

– Алия осовременила иудаизм. Пришла молодежь, – сказал хроникер алии Чернобельский – он писал нескончаемую «Хронику нераставанья».

– То, что здесь написано не осовременивается, – улыбнулась Аня Фалькнер.

Ее улыбка загадка – это и усмешка и издевка и никогда не знаешь: она с тобой или против тебя.

– Я говорю об иудеях алии, – сказал Чернобельский. – Есть надежда, что они войдут в движение современного иудаизма.

– А как насчет веры? Иудеи не любят говорить о вере, – сказала Аня.

– Как раз вера рождается от страха, а его здесь с избытком.

– Если «с избытком», почему ты не уезжаешь? – Это тот самый миг, когда она открыто насмехалась над «хроникером»-очкариком.

– Я ведь еще проектировщик-гидротехник и отец троих маленьких детей, у которых мать русская и она никуда лететь не хочет. Я – идиот.

– Наконец-то. – Аня засмеялась.

– Эмиграция ужасная вещь, – вздохнул Чернобельский.

– Ты просто трус.

– Да. – Он почувствовал пот на лице.

– Ты сегодня благополучный еврей, но, когда миллионы

эмигрируют, то останешься беззащитным. Сейчас боишься КГБ, потом дрожать будешь перед толпой.

Аня написала фломастером на стене «Кто любит серебро, не насытится серебром». – Ну, теперь твоя очередь.

Гриша Розенштейн нашел общий язык со стариками.

– Старики могут слушать любую чушь, – сказала Аня.

Кандидат химических наук Розенштейн неожиданно стал адептом хабад-любавичей. С книгой «Тания» не расставался. Но книга на идише, а он его не знал. Вот он и пристал к Борису Моисеевичу, учителю идиш. Давление и старость вывернули правый глаз вбок, кожу лица сделали черепашьей, выкрали зубы.

На правах старейшего он вышел на средину комнаты и обратился к Халуповичу и Фалькнеру.

– Ша, евреи! Дорогие Миша и Лев, я специально не писал бумажки, не придумывал, но все, что я сейчас скажу, будет литься прямо из сердца. Благословение мое вам и вашим дочерям, то есть женам.

Жены Халуповича и Фалькнера и впрямь годились в дочери. Нечаянная оговорка старика вызвала смех, а Миша и Лев покраснели.

– Дорогие мои, – продолжал Борис Моисеевич, – мое вам благословение и чтобы у вас родились сыновья, и я попал к вам на брис, и Бог даст так и будет. Мы, евреи – семья с общей памятью. Эта память удержала нас вместе в галуте и позволила нам выжить. Все мы вышли из Земли Египетской, не забудьте это и там, на Святой земле…

Беременная жена Халуповича Дина уже не могла стоять, ей подали стул. Лев расширив зрачки, как от нестерпимой боли, переминался с ноги на ногу, озирался затравленно. Миша Халупович, засунув руки в карманы потертых джинсов, был намного терпеливее, переглядывался с Либензоном по-мальчишечьи озорно. Это плохо вязалось с академическим видом Либензона: сутулый, бородка клинышком, в вечернем костюме; немногословный и серьезный. Вышло так, что преследования КГБ сделали его воином-одиночкой. Война была в полном разгаре. Для него речь шла о выживании русских евреев и всякий, кто чувствовал себя соплеменником и ныне должен быть на страже, как две тысячи лет назад. Еврейский мир – организм, живое тело. Ткани нашего мира обновляются смертью. Приходится бороться с варварством новой жизни. Он надеялся, что дружным международными усилиями удастся сломать «железный занавес». До алии он был физик, но жизнь вытолкнула его в лидера еврейской общины с ее непохожими друг на друга людьми,

судьбами, охваченными алией. Либензон вошел в мир несопоставимых целей, и стремлений, и задач, и подвигов, чуждого ему ортодоксального иудаизма, новой строгости и новых испытаний; в мир человеческой личности, чести и гордости.

Вдруг с непоследовательностью в мыслях подумалось на миг такое что-то, что трудно передать: допросы, фарс и ложь и предательство, страх быть арестованным и приговор за несговорчивость с властями. С отъездом Халуповича и Фалькнера жизнь не пойдет по-новому. Или он заблуждается?

Хозяин квартиры взял фломастер.

– Эти обои нужно передать в музей иудаизма, – сказал Чернобельский.

– А что, есть такой музей? – улыбнулся Халупович.

– Как только придет демократия.

– Демократия полагает, что каждая группа может быть права и, в то же время, каждая группа может также и ошибаться, – сказал Фалькнер.

– Вчерашний атеист Розенштейн, сегодня признает, что был не прав.

– Работа над ошибками не из приятных. Зато теперь он ортодокс. С ортодоксальной точки зрения религиозные догмы абсолютны и вечны.

К обоям подошел Розенштейн.

– Русская стена плача. Это все цитаты или отсебятина?

– Надо читать Тору вместо «Тании», – улыбнулась Аня.

Он отмахнулся.

– Бродского не захотели впускать в Израиль. В Анкете он написал «Я еврей, христианин.»

– Ну, пусть придет в синагогу и публично объяснится, но в Израиль ему дорога заказана, потому, что он нарушил Заповедь: «Почитай отца своего и мать свою».

– А если он половинка?

– Я говорю о евреях, перешедших в христианство. Всевышний милостив.

– Да, «По молитве Моисея Я простил народ». – Как мы до сих пор живы без Моисея! – театрально всплеснул руками Фалькнер, – собираемся в «Овражках», жарим в праздники шашлыки, танцуем под гитару.

– Душа его молится за нас, – сказал Чернобельский.

– И за евреев – христиан? – Резенштейн вернул все на круги своя.

– Нет. – Чернобельский готов испепелить Гришу. – Они

предали народ от Авраама до наших дней. И если при этом они совратили еще хоть одного их нас, это грех, каких мало. Ему придется очень много поработать. Чтобы вернуться.

– Это столь же безобидно Богу как и прочая людская суета, – заметил Фалькнер.

– Нет, выкрест предал себя, он сделал вызов Всевышнему и порвал с нами.

– А у нас есть молитва за таких людей?

– Пожалуй «Шма Исроэль»…

Фотограф Борис Теверовский призывал собраться участников семинара для фото.

– Паша! Иди к нам!

– Ну, куда мне, – отмахнулся Гойхман, – там профессора.

– Внимание! – восклинул Теверовский. – Улыбнитесь для истории! Сейчас вылетит птичка.

– Где же птичка? – Лев замахал руками.

– Птичка, – сказал Гриша, – будет в Израиле.

Все засмеялись.

Последний гость уехал в три утра, а в пять Лев и Аня сели в такси. Портфель, несколько чемоданов и переноска, где сидела кошка Тёпа. Солнце еще не поднялось, когда они прибыли в Шереметьево II, где их уже встречали Либензоны, Ванштейны, Броды. Последний тост l'shana haba'a b'Yerushalaim.

Фалькнеры поднялись по лестнице и попали в зал ожидания. Внизу за стеклом стояли десятки друзей: ждали, когда Лев и Аня пройдут. Сколько раз Лев и Аня с завистью и любовью глядели на тех, кто был на пути к свободе. И вот, после стольких лет мучений Лев по другую сторону отказников.

Паспортный контроль. Обычно он занимал несколько минут, но прошло 10, затем 15. За день до этого Лев услышал об аресте Валерия Турчина, представителя «Международной амнистии». Кроме того, ходили слухи о болезни Брежнева. Одно или оба этих события могли повлиять на его положение. Разрешение улететь все еще могли отменить. Лев попытался не думать об этом, но страх не ушел.

Ничего не изменилось в течении получаса. Они вернулись в зал ожидания.

Они стояли, ничего не говоря друг другу.

Время вылета приближалось: 10:45. Фалькнеры остались единственными пассажирами в терминале. Лев снова подошел к паспортному контролю.

– Вылет на Вену задерживается?

– Ваши визы не здесь; их забрали в другой отдел. Какие-то технические проблемы.

Он снова вспомнил об аресте Турчина. Какие могут быть технические проблемы, кроме той, что их освобождение отменено?

Спустя час все выглядело так, как будто судьба их решалась заново. Если их отправят обратно в Москву, то следующим пунктом назначения для него будет Магадан.

– Что происходит? – прокричал Теверовский.

– Они забрали наши визы, – выкрикнула Аня.

Офицер таможни прошла мимо Фалькнеров и развернулась в недоумении.

– Что вы здесь делаете? Самолет вылетает через 10 минут!

– Нам сказали подождать. Мы спросили почему, и сколько ждать, но этого никто не знает.

– Это ерунда! Я узнаю, что происходит! – она достала рацию, – Дуся! У меня тут пассажиры на самолет до Вены.

– Где ваши билеты?

– Билеты-то с нами.

– Дайте их мне. Я отменяю вашу бронь. Самолет не может больше ждать.

– Но в чем дело?

– Я ничего не знаю! – она воскликнула это с таким раздражением, словно они сами виноваты. И помахала билетами.

– Но, что нам делать?

– Я не знаю! Если вам разрешено уехать, вы заплатите штраф за задержку рейса.

У них нет документов и самолет собирался улететь. В Советском Союзе у них нет уже ни паспортов, ни имущества. Им даже негде жить.

Их дочь, маленькая Маша с куклой на руках сдерживала слезы. Лев и Аня молчали. Они были слишком подавлены. Никто не мог обвинить другого за задержку в отъезде – за выбор самого долгого периода на сборы и проводы. Они очень дорожили этими последними днями. А теперь им осталось всего 24 часа, в течении которых они еще могли на что-то надеяться: их визы истекали 5 июля. Завтра они будут просто бесполезными бумажками.

Единственная, кто мог выражать свои эмоции, Тёпа, громко мяукала в своей корзинке. Льва непременно арестуют при выходе из аэровокзала. Видимо, у его друзей возникла такая же мысль, потому они еще находились внизу.

В аэропорт приперся рогоносец, стукач и личный топтун за Львом, сам Лазарь Хейфец. Он подошел к буфету и нагло уплетал

сардельки с тушенной капустой и жидким хреном. Толком ему не объяснили для чего его прислали сюда? Сопровождать Фалькнера теперь в Магадан? А ему-то, Лазарю, нахрена это нужно? Он хочет на дачу к Гале с блинами.

Еще через какое-то время офицер в паспортном контроле объявил:

– Фалькнеры! Вот ваши визы. Поторопитесь!

Лев схватил чемодан и переноску с кошкой, Люся – коробку с вещами, Маша – куклу; и они побежали. Они бежали через второй зал ожидания и остановились перед выходом на поле аэродрома. Господи, они уже по ту сторону границы.

– Стойте! Куда вы бежите?

– На самолет до Вены.

– Стойте! Вы должны пройти досмотр! – окликнул их пограничник.

И снова побежали по стеклянному коридору. Друзья улыбались и махали им.

– Ваши визы. – Пограничник сверил фотографии. – Вам надо подождать.

– Чего? – зарычал красный и взмокший Лев.

– Просто подождать.

– Но, что происходит? Мы должны быть на самолете в Вену. Скажите нам, пожалуйста, в чем дело? Если он уже улетел, мы должны вернуться в здание и что-то предпринять. Если они еще тут – нам надо торопиться.

– Садитесь и ждите. Это все.

Около ворот деревенские зеленые лавочки. У Льва и Ани возникла одна и та же мысль: причина, по которой их пропустили через паспортный контроль была в том, чтобы отделить их от друзей. Они решат, что Фалькнеры уже сели в самолет и разъедутся домой. Теперь их арестуют без свидетелей.

Прошло 15 минут. Аня не выдержала. Встала и подошла к пограничнику, который проверял их визы.

– Зачем вы нас мучаете? Самолет уже улетел или нет?

Он посмотрел на нее, подумал немного, а затем медленно произнес:

– Подождите, они скоро придут.

– Кто скоро придет?

Снова молчание. Затем он сказал:

– Пассажиры.

– Что вы имеете ввиду?

– Ну… погода плохая. Нет разрешения на взлет. Вам надо вернуться в зал ожидания.

– Пассажиры на Вену?

– Да, просто подождите.

– Вы уверены?

Но в любом случае, Фалькнеры абсолютно беспомощны.

– Да-а, – сказал пограничник не очень уверенно. – Идите. Возвращайтесь в зал ожидания.

Фалькнеры прошли обратно по тому же коридору. Они увидели, что шел дождь, но рейсы не откладываются, черт возьми, из-за летнего ливня.

Они вернулись в зал ожидания. Наметанным взглядом заметили людей в штатском, которые переговаривались с Лазарем Хейфецем у буфета, где он пожирал очередную порцию сарделек. Эта старая сволочь приветствовала их с сарделькой на вилке.

– Это что у дяди на сосиске какашка? – спросила маленькая Маша.

– Он так любит, – вдруг улыбнулась Аня.

Они молча присели на стулья. Лев решил проверить документы и просматривая испытал шок:

– Я потерял билеты.

– Конечно нет, не беспокойся, посмотри все бумаги еще раз.

– Но, Аня, я помню, я аккуратно сложил их сюда. А теперь смотри. Вот визы, это ветеринарный сертификат на кошку, это таможенные декларации. Все тут! А билетов нет!

– Но они же не могли просто исчезнуть!

Он снова просмотрел все документы.

– Слушай, если они собираются нас выпустить, то они и без билетов сделают это! Кстати, тебе надо сходить к столу информации, может кто-нибудь нашел их! – сказала Аня.

Женщина в справочной наотрез отказалась помогать Льву искать билеты. Он долго пытался убедить ее помочь им – она ведь могла объявить о потере – но она выставила его. Наконец другая женщина, сидящая в этой же комнате, спросила.

– Почему вы не пришли за ними сразу?

Это была та, что забрала у них билеты, чтобы отменить их регистрацию на рейс. Она могла просто вернуться к ним и отдать билеты, но ей не было до них никакого дела. Они были евреями, эмигрантами, врагами.

Лев получил билеты, но нет уверенности, что они улетят. Пять часов пролетели, как пять минут. Ну помните песенку про «пять минут»? И снова прохождение паспортного контроля, и наконец, они услышали:

– Пассажиры рейса на Вену, пройдите к 19-му выходу!

На этот раз им разрешили сесть в автобус к самолету. Он

остановился перед трапом, но двери автобуса не открылись. Лев пожалел, что не показал жест из двух рук суке Лазарю и его «сардельке с говном»

– Почему нас не выпускают?

– Мы ждем начальника пограничников. – Водитель и стюардесса сами озадачены такой задержкой рейса.

Фалькнер покраснел и взмок от внезапного удушья. Так можно и «коньки откинуть». Ну, не хочет, Левчик, Россия тебя отпускать – все же Родина-мать.

Прошло 20 минут, и прибыл начальник. Пассажиры вышли наружу. Когда проверка закончилась, Фалькнеры очень удивились тому, что их пустили в самолет.

Теперь они боялись даже поверить, что это был конец истории, но они ошибались. Почти час они сидели в самолете. Двигатели молчали.

– Простите, – объявила стюардесса, – извините, пожалуйста, – такого раньше никогда не случалось, но вам всем придется покинуть самолет.

– Почему?!

– Не спрашивайте меня – я не знаю. Я не понимаю ничего. Но вам придется покинуть самолет.

Фалькнеры вместе с другими пассажирами прошли по уже ставшему родным стеклянному коридору. Где сука Лазарь?

– О, папа, этот дядя тебе машет сосиской! – засмеялась Маша и помахала Лазарю куклой.

– Не позорь куклу, – прошептала Аня.

Вот ведь как – все провожающие ушли, а Лазарь остался – «верный друг» – и та последняя сволочь, – ухмыльнулся Фалькнер.

Было около пяти часов дня. Маша выдержала бессонную ночь, и почти ничего не ела со вчерашнего дня. А у Льва и Ани не было денег – все оставшиеся рубли они раздали друзьям.

– У тебя есть сувенирные монеты, – напомнила Аня.

Им разрешили взять 3 штуки, посвященные пятидесятилетию Революции.

– О, точно! Слава революции!

Как только они начали кушать, по громкоговорителю объявили: «Начинается посадка на рейс в Вену».

Они схватили варенные яйца и хлеб и побежали на посадку, как актеры, репетирующие сцену фильма.

В Вене была солнечная погода.

notes

Сноски

1

Так дразнят ашкеназских евреев.